

ISSN 0132-1366

АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

Советское
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

3

1991



• НАУКА •

Советское СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
МАЙ—ИЮНЬ

СОДЕРЖАНИЕ

3

1991

<i>Косик В. И.</i> Константин Николаевич Леонтьев: реакционер, пророк?	3
<i>Гибанский Л. Я.</i> К истории советско-югославского конфликта 1948—1953 гг.: Секретная советско-югославо-болгарская встреча в Москве 10 февраля 1948 года	12
<i>Пиженова И. В.</i> «Новая» польская интеллигенция: специфические проблемы становления	24
<i>Гавранек Ян.</i> (ЧСФР). Чешская, польская и словацкая интеллигенция в Австро-Венгрии (Сравнительный анализ)	35
<i>Титова Л.</i> Чешско-венгерские культурные взаимоотношения на этапе становления и развития национальной культуры	49
<i>Дзиффер Дж.</i> (Италия). Рукописная традиция странного Жития Константина	59
<i>Герд А. С.</i> К реконструкции эталонной модели церковнославянского языка	64
<i>Ефимова В. С.</i> Старославянские отадъективные наречия с суффиксом -б	71

СООБЩЕНИЯ

<i>Ульяновский В. И.</i> Дело пана маршалка Йозефа Вандалина из Великих Кончиц Мнишка и тайные документы Лжедмитрия I	81
---	----

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Дмитриев М. В.</i> Плохий С. Н. Папство и Украина. Политика римской курии на украинских землях в XVI—XVII вв.	88
<i>Кузаков В. К.</i> Цветана Чолова. Естественнонаучные знания в средновековна България	91
<i>Хорева О. А.</i> Справочник биографических справочников	94
<i>Муртузалиев С. И.</i> Елена Грозданова. Българската народност през XVII век. Демографско изследване	95
<i>Журавлев В. G. Shevelov.</i> The Ukrainian Language in the First Half of the Twentieth Century (1900—1941). Its State and Status	96

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В ЯНВАРЕ
1965 г.

МОСКВА
«НАУКА»

<i>Ненашева З. С.</i> XII Всесоюзная конференция историков-славистов	101
<i>И. К.</i> Собрание Международной комиссии по историко-славистическим исследованиям	105
<i>Медушевский А. Н.</i> Конференция советских и польских историков в Ольштыне	105
<i>Жакова Н. К.</i> Международный семинар по Славянской Библии	106
<i>Пащенко Е. Н.</i> Конференции, посвященные эпохе барокко	108
<i>Кузьмин М. Н.</i> Конкурс	111

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. ПОП (главный редактор), **В. К. ВОЛКОВ**, **Р. П. ГРИШИНА**,
А. А. ГУТНИН, **В. А. ДЬЯКОВ**, **А. А. ЗАЛИЗНЯК**, **М. С. КАПУВА**,
В. П. КОЗЛОВ, **М. Н. КУЗЬМИН**, **Г. Г. ЛИТАВРИН** (зам. главного редактора),
Г. Ф. МАТВЕЕВ, **С. В. НИКОЛЬСКИЙ**, **Ю. С. НОВОПАШИН**, **А. Ф. НОСКОВА**,
Л. Н. СМИРНОВ (зам. главного редактора), **Л. А. СОФРОНОВА**, **Б. Н. ФЛОРЯ**

Зав. редакцией *Е. В. Пономарёва*

Отделение истории АН СССР
 Институт славяноведения и
 балканистики АН СССР

© Издательство «Наука»
 «Советское славяноведение», 1991 г.



КОСИК В. И.

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ЛЕОНТЬЕВ: РЕАКЦИОНЕР, ПРОРОК?

В 1991 г. исполняется 160 лет со дня рождения и столетие со дня смерти К. Н. Леонтьева, чье имя у нас полузабыто. О реакционерах мы вспоминали лишь тогда, когда требовалось оттенить деятельность демократов и революционеров. К. Н. Леонтьев же с его крайне правыми взглядами был «неудобным» для исследователей. Но пришло время, когда вместо голых обличений мы можем и должны вступить в диалог с такими мыслителями, как К. Н. Леонтьев, В. В. Розанов, Н. А. Бердяев.

К. Н. Леонтьеву при жизни не удалось получить признание общества, стремительно двигавшегося по пути того прогресса, который он ненавидел. Поиск и разработка им путей спасения России, славянства, а в конечном итоге и человечества от надвигавшейся революции были фактически окружены заговором молчания публики, которая об этом «знать не хочет» [1, с. 13]. Сегодня же взгляды Леонтьева оказываются в самой гуще полемики о прошлом и будущем России, ее национальном своеобразии и европейском влиянии, свободе и деспотизме.

Литература, посвященная Леонтьеву, убедительно свидетельствует о незатухающем интересе отечественных и зарубежных исследователей к этой фигуре. В дореволюционное время о нем писали немногие, но среди них были известные всей России имена: В. С. Соловьев, В. В. Розанов, П. Н. Милоков, С. Н. Булгаков [2]. После революции интерес к историко-философским взглядам Леонтьева сохранялся в среде русской эмиграции [3]. Среди изданий русского зарубежья следует выделить монографию Н. А. Бердяева [4]. С конца 40-х годов имя Леонтьева замелькало на страницах западных изданий, где он признавался одним из крупнейших мыслителей России [5]. В СССР первая публикация произведений Леонтьева относится к 1935 г., когда в журнале «Литературное наследство» была издана написанная им в середине 1870-х годов автобиография «Моя литературная судьба» с вступительной статьей Н. Мещерякова и комментариями С. Дурылина [6]. Труды Леонтьева, поставленного Мещеряковым на одну доску с философами и социологами фашизма [6, с. 432] стали объектом анализа лишь с конца 60-х годов, когда открылась полемика о славянофилах в журнале «Вопросы литературы» (см., в частности, [7]). Творческая мысль Леонтьева начинает освещаться и анализироваться в диссертационных работах [8].

Аналитики произведений Леонтьева разбирают его исторические, этико-философские, литературно-критические, социологические, богословские воззрения и построения. Однако пестрота, кажущаяся и действительная категоричность его радикальных и оригинальных суждений затрудняют работу ученых. Продолжает их волновать и вопрос, почему трак-

Косик Виктор Иванович — канд. ист. наук, научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

товка развития общества, идей прогресса и сами предвидения Леонтьева оказались более точными, нежели у революционеров и демократов с их установками на достижение всеобщего блага?

Так кто же был К. Н. Леонтьев? Он родился 13 января 1831 г. в родовом имении отца селе Кудинове Мещовского уезда Калужской губернии. Учебу начал в кадетском корпусе, а завершил на медицинском факультете Московского университета, откуда досрочно (в 1854 г.) был отпущен для участия в Крымской войне. Тихую врачебную деятельность после крымской кампании Леонтьев в 1863 г. меняет на дипломатическую работу секретаря консульства на Крите. Начало новой службы он «отметил» ударом хлыстом французского консула, позволившего себе дурно отзываться о России, а закончил ее через десять лет вследствие разногласий с тогдашним посланником в Константинополе Н. П. Игнатьевым по греко-болгарскому церковному вопросу, в котором выступил на стороне греков¹.

Внесение политики в вопросы внутренней жизни церкви и, соответственно, усиление национальных и демократических настроений в славянстве Леонтьев рассматривал как угрозу самобытности славянских народов. Свой взгляд, свою теорию спасения славянства он изложил в работе «Византизм и славянство», обдуманной во время тяжелой болезни. Леонтьев писал об этом так: «В 71 году, когда я зимой в отчаянии ехал из Салоник *умирать* на Афон, я на станциях *обдумывал* впервые *отчетливо* свою гипотезу *триединого процесса и вторичного упрощения*. Остановившись в Зографе, я две недели не выходил из комнаты и писал об этом день и ночь ... даже полулежа в постели и чередуя только это занятие с самой горькой, самой искренней и чуть не *отходной* молитвой, по монашескому указанию и по книжкам... Я по очереди раскрывал то Прудона, то Апостола Павла, то Иоанна Лествичника, то Бокля; Апостола Павла и Лествичника *для себя, для души*, для того, чтобы повиноваться им, чтобы любить их, чтобы подражать им; тех двух буржуа *для ума, для сочинения*, которое я считал уже *посмертным*, чтобы ненавидеть их, чтобы бороться с их влиянием, чтобы уклоняться от них насколько возможно» [6, с. 465].

По выздоровлении и последующем уходе в отставку Леонтьев возвращается в Россию, надеясь обеспечить себя литературным трудом. Однако выбиться в «литературные генералы» ему не удалось. Он — помещик в своем селе, послушник Николо-Угрешского монастыря близ Москвы, помощник редактора газеты «Варшавский дневник», с 1881 по 1887 гг. — цензор Московского цензурного комитета. По выходе в отставку селится в Оптиной пустыни «полупомещиком, полумонахом». В 1891 г. принимает тайный постриг под именем Климента. В августе того же года переезжает в Сергиев Посад, где 12 ноября умирает, повторяя в полусознании, полубреду: «Еще поборемся!», и потом: «Нет, надо покориться!», и опять: «Еще поборемся!», и снова: «Надо покориться!». Был похоронен в Гефсиманском саду на кладбище у церкви Черниговской Божьей Матери [1, с. IV—V, XXI]. В последних словах К. Н. Леонтьева заключена трагедия человека, видевшего неумолимо силу ненавистных ему радикальных идей, предрекавшего гибель и перерождение России. Здесь же и трагедия яркого таланта, не нашедшего признания. Как писал сам Леонтьев (в письме к К. А. Губастову от 25 марта 1891 г. из Оптиной Пустыни) о восприятии обществом своей публицистики, «для одних — это остроумные парадоксы... для других — старческое безумие и упрямство, для очень ученых — легко и недоказательно, для мало ученых — слишком мудрено и слишком учено ... для большинства — просто *неизвестно*, или по предубеждению против *охранительных* органов, в которых я печатаю и которые это большинство не раскрывает, или прямо по недостатку славы или хоть большой известности» [9, июль, с. 426].

Решительный противник демократизации и либерализма à la Прудон, страстный защитник своеобразия путей развития каждой нации, каждой

¹ Суть борьбы заключалась в стремлении болгар к политической самостоятельности через создание своей независимой церковной организации, что было сопряжено с нарушением единства православного христианства на Востоке.

культуры, Леонтьев вырабатывает свою теорию исторического процесса, которую в развернутом виде изложил в работе «Византизм и славянство». Суть ее состояла в следующем: любое общество в истории проходит три этапа: этической простоты и патриархальности; сложного цветения с многообразными и гармоническими творчеством и развитием, объединенными в высшем духовном и государственном единстве; вторичного смешивания и упрощения с последующими разложением и гибелью, вызванными уничтожением разнообразия и всеуравнительным прогрессом [10, т. 5, с. 187—209].

Правомочность своей теории Леонтьев старался доказать всем ходом истории цивилизации, обращая особое внимание на Россию и славянство перед лицом надвигающейся угрозы с Запада, вступающего в свой третий, последний период. (И здесь он не был одинок. Достаточно вспомнить имена И. С. Аксакова, Н. Я. Данилевского, Ф. М. Достоевского, А. А. Киреева, В. И. Ламанского, Ф. И. Тютчева.)

Спасение России Леонтьев видел в следовании византизму, который в государственной организации есть самодержавие, в религии — православное христианство, в нравственном смысле — антитеза идее всеобщего равенства и всеобъемлющей свободы [10, т. 5, с. 113—114]. На многочисленных примерах он доказывал, что только благодаря этим началам, понижающим все общество, Российское государство выстояло в Смутное время и в периоды других великих испытаний. «Под его (византизма.— В. К.) знаменем, если мы будем ему верны, — подчеркивал Леонтьев, — мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы, если бы она, разрушивши у себя все благородное, осмелилась когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад своих новых законов о мелком земном всеблаженстве, о земной радикальной всепошлости!» [10, т. 5, с. 137]. Абсолютный родовой монархизм, освященный православием, укрепленный равнодушием народа к политическим, т. е. конституционным, вопросам — вот идеал Леонтьева. Следуя словам Христа: «Царство мое не от мира сего», Леонтьев, подобно многим своим современникам, таким как И. С. Аксаков [11] и Ф. И. Тютчев [12], отказывается верить в любую теорию о всемирном и всеобщем благе. В построениях и лозунгах о равенстве лиц, сословий, наций, экономическом и умственном равенстве полов он видел все тот же грозный процесс уравнивания, упрощения и, соответственно, разрушения культурного мира с его своеобразием.

В работах Леонтьев неоднократно называл имена своих западных идейных противников. Это — Пьер Прудон с его идеалом «среднего европейца» и Этьен Кабе с идеями «икарийского коммунизма». (Леонтьев пытался ближе познакомиться с трудами К. Маркса — на языке оригинала — как «последним словом» социализма, но был испуган их «серьезностью»). И поэтому, как он писал К. А. Губастову 4 апреля 1889 г. из Оптиной пустыни, «оба тома (К. Маркса.— В. К.) стоят на полке ... не читанные» [9, май, с. 404].)

Полемизируя с ними, Леонтьев обращается к рассмотрению идеи государственности и соотношения прогресса и охранительства. По его мнению, развитие любого государства «сопровождается постоянно выяснением, обособлением свойственной ему политической формы; падение выражается расстройством этой формы, большей общностью с окружающим. ... Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться» [10, т. 5, с. 197]. Смена форм, начавшаяся в XVIII—XIX вв. вследствие эгалитарно-либерального процесса, по Леонтьеву, возможно, и полезна для вселенной, но не для длительного сохранения самих отдельно взятых государств. Рассматривая в современной ему ситуации охранительство (суть реакцию) и прогресс, Леонтьев приходит к многозначительному выводу, построенному на присущих этим явлениям факторах внутренней изменчивости. Так, в начале третьего этапа, когда происходят вторичное упрощительное смешение и большая подвижность в обществе, «в смысле государственного блага все прогрессисты становятся неправы в теории, хотя и торжествуют на практике.... Все охранители и друзья реакции правы, напротив, в теории... ибо они хотя и лечат и укрепляют организм...

Они все-таки делают свой долг и, сколько могут, замедляют разложение, возвращая нацию, иногда насильственно, к культуре создавшей ее государственности. *До дня цветения* лучше быть парусом или паровым котлом; после этого *невозвратного* дня достойнее быть якорем или тормозом для народов, стремящихся вниз под крутую гору, стремящихся нередко наивно, добросовестно, при кликах торжества и с распущенными знаменами надежд» [10, т. 5, с. 208].

Диалектическая формула Леонтьева придает совершенно иное звучание и оттенок трагизма штампованным характеристикам этих сложнейших понятий. Кроме того, не реакция или прогресс являются мерилем жизни, а эстетика с ее гармонией, где есть начала и антагонизма и солидарности, — вот точка зрения Леонтьева [13, с. 124].

В своих рассуждениях о прогрессе и реакции Леонтьев не был одинок. И. С. Аксаков, говоря о прогрессе с его лозунгами времен Французской революции «Свобода, равенство, братство», писал, что эти, по своему происхождению евангельские истины, взятые и понятые вне своего источника, логически приводят к освобождению от нравственной ответственности, подмене понятий добра и зла понятиями пользы и вреда. Он отмечал: «Истокаясь в усилиях уравнить человечество по своей внешней логической мерке, ревнители-„прогрессисты“ безотчетно стремятся понизить его, хотя бы способом самой тиранической нивелировки, до самого низменного, действительно общего уровня и убить, наконец, самую свободу и разнообразие жизни» [11]. Разительное сходство с мыслями Леонтьева налицо. Разница лишь в одном. По Аксакову, именно любовь была сутью и девизом евангельского учения и отсутствие этого слова на знамени Французской революции привело к террору. Леонтьев же писал более жестко, подчеркивая, что «любовь без страха — гордость и европейский прогресс» [1, с. 102].

В обстановке все большего распространения ходячих идей прогресса (гражданские свободы, народное благосостояние, развитие науки и техники и т. п.) с их ограниченностью в духовной сфере Константин Леонтьев видел спасение России только в твердом следовании принципам византизма. Лишь этот путь мог не только спасти Российскую империю от угрожавшей ей опасности либерализма, но и дать ей возможность выступить при определенных условиях спасительницей славянского мира, все больше переходившего к конституционализму: «Не для того же русские орлы перелетали за Дунай и Балканы, чтобы сербы и болгары высжижали бы после на свободе куриные яйца мещанского европейства á la Вирхов, á la Кобден или Жюль Фавр» [10, т. 5, с. 388]. В этой знаменательной фразе ясно видно все так называемое охранительство Леонтьева, прямо называвшего себя реакционером и противником такой эмансипации общества, когда материальное берет верх над духовным, когда индивидуум, отказываясь от прошлых идеалов, не обретает духовных ценностей в будущем. В начале 70-х годов он окончательно отходит от своих прежних воззрений об определенной правоте национальных движений, видя в них теперь лишь скрытое революционное содержание — демократизацию внутри и ассимиляцию вовне, иными словами, гибель национальной культуры.

Рассматривая современное ему состояние славянства, Леонтьев приходит к выводу, что «есть славянство, но что славизма, как культурного здания, или нет уже, или еще нет, или славизм погиб навсегда, растаял, вследствие первобытной простоты и слабости своей, под совокупными действиями католичества, византизма, германизма, ислама, мадьяров, Италии и т. п., или, напротив того, славизм еще не сказал своего слова и таится, как огонь под пеплом». Во всяком случае, славянам в выработке этого культурного славизма нужна сила, которая имеется только у России [10, т. 5, с. 168, 170]. В понимании Леонтьева славизм предстает как некая духовная «отвлеченная идея», объединяющая славянство. Причем истинный славянофил «не славян во что бы то ни стало и *во всех формах* должен любить, а именно это *особое* культурно славянское... Если только оно найдется или вырабатается» [6, с. 445]. Его опасения были вызваны именно конституционализмом славян, особенно о западных, сближение с которы-

ми при известных условиях может быть, по его мнению, пагубным для всего славянства. Отсюда замечательное по резкости и оригинальности суждение Леонтьева: для «достижения *своей* цивилизации русским выгоднее проникаться турецкими, индийскими, китайскими началами (т. е. наиболее архаичными. — В. К.) и охранять крепко все греко-византийское, чем любезничать с Ригерами, Наперстками, Смолками, Фитами и т. д.» [6, с. 452]². К этой идее, высказанной в автобиографии, он возвратился в несколько видоизмененной форме в конце 80-х годов в работе «Владимир Соловьев против Данилевского». Критикуя автора «России и Европы» за «доверчивое славянолюбие» и «веру в само племя славянское», Леонтьев писал, что «нужна вера не в само это отрицательное племя, а в счастливое сочетание с ним всего того *получужого*, преимущественно восточного (а кой в чем и западного), *которое заметнее в России, чем у других славян*. Нужна вера в дальнейшее и новое развитие Византийского (Восточного) христианства (православия), в плодотворность *туранской* примеси в нашу русскую кровь; отчасти и в православное *intus-susceptio* (вливание. — В. К.) властной и твердой немецкой крови и т. д. Чем больше в нас, славянах, будет *физиологической примеси* и чем больше в то же время *религиозного единства* между собою и *бытового обособления* от Запада, — тем лучше!» [10, т. 7, с. 323—324].

Как представляется, здесь идет речь о двояком процессе «заморозки» России и соответственного формирования своей, отличной от Запада культуры, сохранения самобытности и ее дальнейшего углубления. С одной стороны, это укрепление России через присоединение к ней восточных стран с их оригинальными и в то же время деспотическими началами. С другой стороны, это то же упрочение империи путем кровного соединения с «туранским» элементом, свободным от либеральных идей, равно как и с западным, крепко связанным определенными узами с самодержавной Россией. Фактически предлагаемый Леонтьевым путь был в то же время и реакцией на «бесцветность» российского либерализма, российской интеллигенции, сравниваемой им со страусом, у которого «пышные перья Хомяковской своеобразной культуры разлетелись в прах туда и сюда при встрече с жизнью и осталась, вместо нарядной птицы, какая-то очень большая, но кудая и серая индюшка, которая жалобно клохчет, что ей плохо, и не знает, что делать» [10, т. 7, с. 253].

Надо отметить, что идеи Леонтьева о создании сверхдержавы с оригинальной культурой находили отражение в дальнейших разработках проблемы исторического пути России. Так, Леонтьев может по справедливости считаться одним из предтеч евразийцев, разработывавших теорию особой русской культуры. Их учение возникло в среде русских эмигрантов после 1917 г. Его суть заключалась в дальнейшем утверждении русской мессианской идеи, якобы имеющей космическое значение для судеб человечества, разделенного на Восток и Запад. Представители этого учения подчеркивали, что русские и другие народы «Российского мира» не являются ни европейцами, ни азиатами, и писали о себе, что «сливаясь с родною и окружающей нас стихией культуры и жизни — мы не стыдимся признать себя евразийцами» [14, с. VII]. Один из евразийцев, П. Савицкий, пророчествовал в статье «Поворот к Востоку»: «В мире как будто нет изменений ... кроме того, что в благоустроенном культурном мире

² В то же время Леонтьев подчеркивал: «Конечно, чехи — братья нам; они полезны, не говорю, славизму (ибо, как я сказал, славизма нет), а славянству, т. е. племенной совокупности славян; они полезны как передовая батарея славянства, принимающая на себя первые удары германизма... У нынешних чехов есть, пожалуй, самобытность, но вовсе нет своеобразия. Высшая ученость, например, есть большая сила, но уж, конечно, эта сила не исключительно славянская, она могла только способствовать к изучению, к пониманию древнеславянских, хоть сколько-нибудь своеобразных начал; но от понимания прошедшего и преходящего до творчества в настоящем и даже до прочного охранения еще целая бездна бессилия... духом страны правит ученая буржуазия... чехи, войдя раньше всех славян и надолго в общий поток романо-германской цивилизации, раньше всех других славян пришли к ученому сознанию племенного славизма, но зато, вероятно, меньше всех других славян сохранили в себе что-либо бессознательно, наивно, реально и прочно существующее славянское» [10, т. 5, с. 150, 151, 153].

более нет России. И в этом отсутствии — изменение. Ибо в своем особом роде „небытия“ Россия в определенном смысле становится идеологическим средоточием мира... это значит, что на арене мировой истории выступил новый, не игравший доселе руководящей роли культурно-географический мир. Напряженный взор прозирает в будущее: не уходит ли к Востоку богиня Культуры, чья палатка столько веков была раскинута среди долин и холмов Европейского Запада?... не уходит ли к голодным, холодным и страждущим?...» [14, с. 3]. Считая большевизм одним из пост-фактум необходимых этапов «русской идеи» и принимая как должное, что именно на Россию пало «бремя искания истины за всех и для всех», евразийцы верили в будущее. Они считали, что в борьбе с господствующим в России учением, отрицающим самое себя и соответственно свой социализм, на просторах Евразии будет создана своя самобытная культура, отвергающая «общечеловеческую (западную) цивилизацию» с ее эгоцентризмом.

Идеи Леонтьева, идеи евразийцев исповедуются и в наше время. В газете советских интеллектуалов-консерваторов «Последний полюс» прямо пишется об укреплении имперской идеи и необходимости формирования «могущественного, духовно состоятельного этноса». Выступая за «диктатуру духовности, за обязательное и всеохватывающее утверждение в обществе и государстве традиционных ценностей, коренящихся в священных истоках Российской Империи, в ее религиозных и сакрально-политических традициях», интеллектуалы-консерваторы видят спасение страны в активизации ее самобытности путем духовной экспансии из Индии, Китая и Ирана [15].

Таким образом, идеи, подхваченные у К. Леонтьева, до сих пор продолжают жить и развиваться. Их возрождение в совершенно новых условиях является неоспоримым доказательством продолжающегося спора между западниками и славянофилами об исторических путях России, которой судьба отвела роль страдательного лица в истории человечества.

Преодоление этой страдательной роли Леонтьев видел прежде всего в сохранении Россией духа византизма — залога «всеславянской независимости» и «пособия самой Европе против пожирающей ее медленной анархии. И таким образом для всего человечества» [10, т. 5, с. 170].

Говоря об историческом призвании России в славянском мире, Леонтьев со свойственной ему резкостью писал: «Не надо льстить славянам... надо..., если удастся, учить их даже, как людей отсталых по уму, несмотря на кажущуюся их прогрессивность и даже ученость некоторых из них. Ученость сама по себе, одна, еще не есть спасение, иногда она залог отупения» [10, т. 5, с. 187]. Предлагаемая формула не требует особых комментариев. В общем виде имелась в виду политика «старшего брата», базирующаяся не на заигрывании, не на диалоге, а на жесткой основе монолога могущественной самодержавной Российской империи. (Как вспоминал близко знавший Леонтьева известный дипломат Ю. С. Карцов, «взгляды его, ничем не приукрашенные, на нервы читателя, в буквальном смысле, производили действие ножа по стеклу» [13, с. 250].) В то же время подобная политика не должна была вести к слиянию «ручьев славянских» в «русское море». Пример Польши наглядно показывал всю бесполезность и вредность подобной идеи. По Леонтьеву, не соединения и слияния со славянами следовало бы желать, а комбинаций на взаимовыгодной основе, искать, так сказать, «искусного тяготения на почтительном расстоянии» [10, т. 5, с. 257].

Здесь напрашивается сравнение высказываний Леонтьева с рассуждениями А. Н. Пыпина в его работе «Панславизм в прошлом и настоящем». Если у Леонтьева объединение славянства возможно при сохранении Россией византийского духа и силы, то у Пыпина в слегка замаскированном виде проводится мысль о том, что оно может быть решено в утвердительном смысле «не иначе как после значительной внутренней работы России над самой собой, т. е. над теми условиями своего быта, которые могли бы сделаться чувствительными для славян, вступивших с нею в политическую связь» [16].

По Леонтьеву, постоянно указывавшему на важность «отвлеченных

начал», панславизм должен строиться не на принципе национальности, а на основе вероисповедания, так как только православная церковь является единственным охранительным началом в славизме. Его выступления против национализма были продиктованы не враждой к оригинальным национальным началам, а неприятием той национальной политики, которая ведет народы в пропасть бездуховного уравниательства. Здесь вновь видна эстетика Леонтьева, без которой невозможно рассматривать его взгляды. В «Письмах отшельника» он отмечал: «*Эстетика спасла во мне гражданственность... Раз я понял, что для боготворимой тогда мною поэзии жизни необходимы почти все те общие формы и виды человеческого развития и что надо противодействовать их утилитарному разрушению, для меня стало понятно, на которую сторону стать: на сторону всестороннего развития или на сторону лже-полезного разрушения*» [10, т. 7, с. 267]. Для Леонтьева, исповедовавшего принцип красоты как в искусстве, так и в жизни, это означало защиту монархии, сословности, православия или, как он писал, всего того «*разнообразия — положений и чувств, которое развивается благодаря неравенству и борьбе...*» [10, т. 7, с. 267]. Эта защита одновременно была и обличением того утилитарного демократического прогресса, который он яростно ненавидел. Абсолютно прав был Бердяев, называя Леонтьева суровым и беспощадным романтиком [4, с. 17—18].

Исходя из положения о первенстве духа, Леонтьев, в чьей душе боролись эстетика и христианство, подчеркивал, что для восточноправославного мира нужно как можно больше единства церковного и как можно меньше единства государственного. Не политические интересы, не достоинства или недостатки, свойственные нации или отдельной личности, а отвлеченные идеи и общие интересы являются той базой, которая служит как для соединения, так и для разъединения. Именно поэтому «самый грубый или алчный черногорский воин, самый легкомысленный и пустой румын, самый надменный и коварный грек, самый упрямый и лукавый болгарский чорбаджи должны быть для нас дороже и ближе самых просвещенных, изящных и самых благородных по характеру английских лордов, дороже и ближе самых простодушных, честных мусульман, самых безукоризненных по свойствам и образу жизни папистов» [10, т. 5, с. 308].

Леонтьев настойчиво пытается найти ту верную и единственную тактическую линию поведения, которая бы позволила отсрочить наступление губительного третьего этапа. Считая, что политический панславизм, по своей сути европейский, ведет к революции, Леонтьев предлагал обособить Россию в духовной, умственной и бытовой жизни, т. е. «подморозить» державу³. Для предотвращения распространения унитарно-буржуазной цивилизации он полагал необходимым также и временное сохранение Австро-Венгрии. «Воевать с Австрией *желательно*; изгнать ее из Боснии, Герцеговины и вообще из пределов Балканского полуострова *необходимо*; но разрушать ее избави нас Боже. Она до поры до времени (до православно-культурного возрождения самой России и восточных единоверцев ее) — драгоценный нам карантин от Чехов и других уже *слишком* „европейских славян“» [17].

Один из путей спасения России Леонтьев в работе «Византизм и славянство» связывал с разрешением Восточного вопроса и занятием Константинополя (Царьграда). Именно с этим городом были сопряжены за-

³ Именно поэтому К. Леонтьев с большим удовлетворением воспринял политику Александра III, взявшего курс на укрепление самодержавных начал и на борьбу с либерализмом. Но в то же время Леонтьева не следует смешивать с К. П. Победоносцевым — этим столпом консерватизма и, казалось бы, его «коллегой по идейным убеждениям». Разница — огромная. Сам Леонтьев отзывался о Победоносцеве так: «Он как мороз; препятствует дальнейшему гниению; но *расти* при нем ничего не будет. Он не только не творец; он даже не реакционер, не восстановитель, не реставратор, он только консерватор в самом тесном смысле слова; мороз, я говорю, сторож; безвоздушная гробница; старая „невинная“ девушка и больше ничего!» [13, с. 124]. Этот хлесткий отзыв показывает всю пропасть между Леонтьевым как творцом, ищущим спасение России в евразийстве в его особых формах, и Победоносцевым — государственным мужем, деятельность которого не поднималась выше уровня того же самого «нигилиста», только со знаком «минус».

ветные мечты той части русского общества, которая видела Россию наследницей Византии. Подобные мессианские настроения великолепно отразил Тютчев в стихотворении с символическим названием «Русская география», первые строфы которого гласят:

Москва и град Петров, и Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы... [18].

Захват Константинополя должен был явиться ключевым моментом для осуществления проекта Леонтьева. Суть его состояла не столько в изгнании турок из Европы, не столько в эмансипации славян или формировании из них конфедерации, сколько в «развитии своей собственной оригинальной славяно-азиатской цивилизации» [10, т. 5, с. 420]. Заложением фундамента нового культурно-государственного здания должно было явиться формирование восточноправославной политической, религиозной, культурной, но ни в коем случае не административной конфедерации славянских стран. Именно эта конфедерация под гегемонией самой не славянской и в то же время самой славянской России должна была обеспечить «*новое разнообразие в единстве*, всё славянское цветение», и в то же время стать оплотом против западного европеизма, обеспечить себе духовную независимость [10, т. 5, с. 255].

В ходе разработки конкретных планов, ситуаций и результатов будущей войны за Царьград Леонтьевым ставятся и анализируются многочисленные проблемы, так или иначе связанные с устранением угрозы со стороны «космополитического радикализма» (революционаризма) и с условиями осуществления идеального славизма.

Рассуждения и мысли Леонтьева о Константинополе нельзя воспринимать только с узко утилитарных позиций. Здесь, как и ранее, важна сама идея, позволяющая оценить размах, глубину и широту его эстетических, исторических и философских взглядов. Он легко может быть зачислен в ряды защитников и пропагандистов русской мессианской идеи с их лозунгом «Москва — третий Рим». И в то же время трудно, даже невозможно назвать его философом мракобесия. Отметим лишь, что Леонтьев был, пожалуй, первым из деятелей консервативного и либерального направлений, который сумел увидеть и оценить всю мощь идей 1789 г. и грозившую катастрофу для самодержавной России, вступавшей, как он ясно видел, на необратимый путь третьего этапа.

Все большее распространение социалистических и либерально-демократических теорий внушало К. Н. Леонтьеву и страх и надежду: страх перед кровавой бойней, ожидающей Россию; надежду, что грядущая революция превратится в свою противоположность. Предрекая рождение новой культуры, он писал, что она «будет тяжела для многих, и замесят ее люди столь близкого уже XX века никак не на сахаре и розовой воде равномерной свободы и гуманности, а на чем-то ином, даже страшном для непривычных» [10, т. 7, с. 187]. Подвергая жестокой критике либералов, этих «*незаконных революционеров*», за их деятельность по подтачиванию самодержавных устоев империи, Леонтьев пророчески указывал, что в случае победы революции они будут преданы забвению: «Социалисты везде (а особенно наши Марки Волоховы и Базаровы) ваш умеренный либерализм презирают... И они правы в своем презрении... И как бы ни враждовали эти люди против *настоящих охранителей* или против форм и приемов охранения, им неблагоприятно, *но все существенные стороны охранительных учений им самим понадобятся*. Им нужен будет *страх*, нужна будет *дисциплина*; им понадобятся *предания покорности, привычка к повинности*; народы, удачно (*положим*) экономическую жизнь свою пересоздавшие, *но ничем на земле все-таки неудовлетворимые*, восплают тогда новым жаром к *мистическим учениям* и т. д.» [10, т. 7, с. 217].

Видя за социализмом способность остановить всеразрушающее проникновение либерализма во все сферы жизнедеятельности общества, Леонтьев — ненавидевший царство европейского «пиджака» — приходил к оригинальной мысли, что он может быть и созидательной силой, своеобразным феодализмом будущего. «Но это, — по словам Леонтьева, — купит-

ся ценой долгой приостановки того *безумного движения*, которое охватило теперь (с XVIII века) разрушаемый эгалитарной свободой старый мир. Иначе, если социализм не будет в силах создать попеременным путем — и крови, и мирных реформ — *новое неравенство прав* и новую *разнородность развития*... близится конец всему» [9, май, с. 400—401]. Именно такая приостановка могла задержать приближение апокалипсиса, в неизбежность которого верил Леонтьев, как верил он и в то, что именно социализм в XX и XXI вв. будет играть на почве государственно-экономической ту же роль, какая принадлежала христианству на религиозно-государственной почве [20, с. 400].

Сейчас, через сто лет после смерти К. Н. Леонтьева с особой остротой чувствуешь всю фатальность изречения: «Нет пророка в своем отечестве». Уже на исходе XX век, во многом подтвердивший правоту К. Н. Леонтьева. Создавая новый собор Революции на крови, мы действительно осуществили его мечту, сорвав и похоронив идею о постановке России на западный путь развития. В 1917 г. была осуществлена колоссальная заморозка страны с потерей национального своеобразия, национальных красок, сопровождавшаяся уничтожением генетического фонда. Прошлое зло мстит настоящему. И сейчас наше общество стоит перед теми же проблемами, которые пытался разрешить Леонтьев, подчеркивавший, что «тот народ наилучше служит и всемирной цивилизации, который свое национальное доводит до высших пределов развития; ибо одними и теми же идеями, как бы ни казались они современникам хорошими и спасительными, человечество постоянно жить не может» [10, т. 7, с. 45].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров А. Памяти К. Н. Леонтьева. Письма К. Н. Леонтьева к Анатолию Александрову. Сергиев Посад, 1915.
2. Соловьев В. С. Собр. соч., т. 10. СПб., 1896; Розанов В. В. Литературные очерки. СПб., 1899; Миллюков П. Н. Из истории русской интеллигенции. СПб., 1902; Миллюков П. Н. Разложение славянофильства: Данилевский, Леонтьев, В. С. Соловьев. М., 1893; Булгаков С. Тихие думы (из статей 1911—1915 гг.). М., 1918.
3. Зандер Л. Константин Леонтьев о прогрессе (отдельный оттиск из № 5—7 журнала «Русское обозрение» за 1921 г.). Пекин, 1921; Миролюбов А. Н. Религиозное мирозерцание К. Леонтьева. Харбин, 1933.
4. Бердяев Н. Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли. Париж, 1926.
5. Kologriwof J. Von Hellas zum Mönchtum Leben und Denkenk Leontiew's. Regensburg, 1948; Gasparini E. Le previsioni di Constantino Leont'ev. Venezia, 1957; Ivanov A. K. N. Leontev (Il pensiero, l'uomo, il destino). Pisa, 1973; Иваск Ю. Константин Леонтьев. Жизнь и творчество. Берн; Франкфурт, 1974.
6. Литературное наследство, 1935, № 22—24.
7. Янов А. Л. Славянофилы и Константин Леонтьев. — Вопросы философии, 1969, № 8; Гайденко П. Наперекор историческому процессу (Константин Леонтьев — литературный критик). — Вопросы литературы, 1974, № 5; Бочаров С. Г. «Эстетическое охранение» в литературной критике (Константин Леонтьев о русской литературе). — В кн.: Контекст 1977. М., 1978; Рабкина Н. А. Исторические взгляды К. Н. Леонтьева. — Вопросы истории, 1982, № 6; Неоконсерватизм в страхах Запада. — Реф. сборник ИНИОН, ч. 2. М., 1982; Дьяков В. А. Славянский вопрос в пореформенной России (1861—1895 гг.). — Вопросы истории, 1986, № 1.
8. Янов А. Л. Славянофилы и Константин Леонтьев (Буржуазный миф о пророчестве Константина Леонтьева и русская консервативная мысль XIX в.). — Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. философ. наук. М., 1970; Авдеева Л. Р. Религиозно-консервативная социология К. Н. Леонтьева. — Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. философ. наук. М., 1983.
9. Русское обозрение, 1897.
10. Леонтьев К. Н. Собр. соч., т. 5—7. М., 1912—1913.
11. Аксаков И. С. Собр. соч., т. 4. М., 1886, с. 192—195.
12. Тютчев Ф. И. Россия и Революция. — Русский архив, 1873, кн. 1, с. 913—915.
13. Памяти Константина Николаевича Леонтьева. Литературный сборник. СПб., 1914.
14. Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев. София, 1921.
15. Последний полюс, 1989, № 2, с. 1.
16. Лыпин А. Н. Панславизм в прошлом и настоящем. СПб., 1913, с. 55—56.
17. Леонтьев К. Н. Национальная политика как орудие всемирной революции (письма к О. И. Фуделю). М., 1889, с. 45—46.
18. Тютчев Ф. И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1939, с. 81.



ГИБИАНСКИЙ Л. Я.

К ИСТОРИИ СОВЕТСКО-ЮГОСЛАВСКОГО КОНФЛИКТА 1948—1953 гг.: СЕКРЕТНАЯ СОВЕТСКО-ЮГОСЛАВО-БОЛГАРСКАЯ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ 10 ФЕВРАЛЯ 1948 ГОДА

Одной из наиболее выразительных страниц гегемонистской политики Сталина в отношении восточноевропейских стран явился конфликт с Югославией, начавшийся в 1948 г. и активно продолжавшийся вплоть до смерти «отца и учителя». До недавнего времени на освещение истории конфликта в советской историографии было наложено многолетнее «табу», и эта тема превратилась в одно из многочисленных исторических «белых пятен». Только с 1988 г. начали печататься первые посвященные ей материалы советских авторов. Однако в большинстве своем исследователи не располагали советской или югославской архивной документацией и пользовались, особенно при описании начальной фазы конфликта, его генезиса и непосредственных причин, лишь теми сведениями о его закулисной стороне, которые еще в период конфликта, а затем и после него публиковались в Югославии. Соответственно в появившихся в нашей стране как публицистических выступлениях [1; 2], так и научных и научно-популярных статьях [3; 4], как правило, почти целиком воспроизводилась та фактологическая канва и тем самым событийная версия советско-югославского столкновения, которая содержалась в югославской литературе и берет начало от выпущенной еще в 1953 г. официозной биографии Й. Броз Тито, написанной в разгар конфликта одним из тогдашних руководителей югославской пропаганды В. Дедиером [5]. Первая в нашей историографии попытка привлечения советских и отчасти югославских архивных материалов, предпринятая в 1988 г. [6], носила по независящим от ее инициаторов причинам крайне ограниченный характер и позволяла внести буквально единичные дополнения, но не выйти сколько-нибудь существенно за сложившийся фактологический круг.

Однако за прошедшие несколько лет, отмеченных дальнейшим обсуждением проблем советско-югославского конфликта 1948—1953 гг. [7—10], стали постепенно появляться определенные возможности изучения ряда советских и зарубежных архивных фондов, бывших ранее недоступными. Отражением этого явилась, в частности, публикация некоторых архивных документов МИД СССР [11; 12]. Исследование значительного массива неизвестных доселе документальных материалов позволило перейти к более основательному освещению конкретной истории конфликта. Этому посвящена серия документальных очерков под общим названием «Открытый архив. К истории советско-югославского конфликта 1948—1953 гг.», опубликованных в 1990 — начале 1991 г. в журнале «Рабочий

класс и современный мир», преобразованном с нынешнего года в «Политические исследования» (см. [13; 14; 15]). Статьи, которые начинают печататься в «Советском славяноведении», являются продолжением данной серии. Они построены прежде всего на материалах из архивов СССР, Югославии, Польши.

В очерках [13—15] мы на основе главным образом архивных материалов, бывших до последнего времени секретными, старались проследить, как, когда, по каким конкретным причинам начал зарождаться советско-югославский конфликт. Были рассмотрены преимущественно события 1947 — начала 1948 г., до советско-югославо-болгарской встречи, состоявшейся в Москве 10 февраля 1948 г. Прежде чем перейти к этой встрече, явившейся переломным моментом, за которым последовал переход к прямой конфронтации, сначала вкратце напомним излагавшееся в предшествующих статьях.

Хотя в первые годы после второй мировой войны Югославия из всех восточноевропейских стран наиболее решительно и быстро пошла по пути Советского Союза, по пути «строительства социализма» сталинского образца и занимала по отношению к СССР положение союзника номер один, тем не менее в советских верхах, непосредственно у Сталина стало постепенно накапливаться определенное недовольство некоторыми действиями югославского руководства. Судя по документам, с которыми нам удалось познакомиться, это было связано прежде всего с теми случаями, когда югославская сторона предпринимала те или иные шаги в области отношений с другими восточноевропейскими, в первую очередь балканскими, «народно-демократическими» государствами без предварительных консультаций с Москвой, не спрашивая ее мнения. Конкретно такое недовольство проявилось в двух случаях.

Первый из них был связан с совместным заявлением югославской и болгарской правительственных делегаций во главе с Й. Броз Тито и Г. Димитровым, встретившихся на озере Блед 30 июля — 1 августа 1947 г., вернее, той частью этого заявления, в которой говорилось, что обе стороны подготовили и согласовали текст договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Югославией и Болгарией. Для советского правительства заявление явилось неожиданностью, поскольку Белград и София не известили его заблаговременно о своем намерении, а прежде СССР выражал Югославии и Болгарии мнение, что с подобным договором надо подождать до того, пока не будет заключен мирный договор с Болгарией, который должен был вступить в силу лишь 15 сентября 1947 г. Реакция Сталина была острой: он направил в адрес югославского и болгарского правительств резкую телеграмму, в которой оценивал их шаг как ошибку, которая, по его словам, может быть использована «реакционными англо-американскими элементами», и подчеркивал, что этот шаг предпринят без консультации с советским правительством. Руководители Югославии и Болгарии дисциплинированно приняли критику в свой адрес и далее в этом вопросе действовали, учитывая мнение Москвы: они официально подписали договор между двумя странами лишь после вступления в силу мирного договора с Болгарией и после того, как Сталин и Молотов уведомили югославское и болгарское правительства, что теперь они могут заключить договор о дружбе. Причем югославское правительство предварительно сообщило советской стороне о предстоявшем подписании договора и послало его подготовленный проект. Тем самым инцидент, возникший в августе 1947 г. и сохранявшийся всеми его участниками в тайне, был как будто исчерпан (подробнее см. [13, с. 172—175]).

Второй случай был связан с предпринятым в январе 1948 г. обращением Тито к руководителю Албании Э. Ходже о том, чтобы албанское правительство предоставило Югославии военную базу на территории своей страны, в районе города Корча, и согласилось на размещение там югославской дивизии. Этот шаг мотивировался необходимостью защиты Албании от возможной угрозы вторжения со стороны Греции, однако, согласно свидетельству единственного из ныне живущих тогдашних ближайших сподвижников Тито — М. Джиласа, причиной явилось стремление Тито

упрочить роль «патрона» в отношении Албании, которую Югославия играла в первые послевоенные годы. По утверждению Джиласа, Тито опасался, как бы растущее участие советской стороны в албанских делах, в частности в сложных взаимоотношениях и соперничестве внутри албанского руководства, не перетянуло Албанию из сферы югославского в сферу непосредственного советского контроля. Имеющиеся на сегодняшний день документы не дают возможности точно установить истинную причину югославского решения о вводе дивизии в Албанию, но фактом является то, что оно было принято без предварительной консультации с СССР и даже без всякого его уведомления, хотя накануне и в момент принятия данного решения велись советско-югославские переговоры по поводу ситуации в Албании и югославской роли в этой стране. 17 января 1948 г., за два дня до обращения Тито к Ходже, Джилас прибыл в Москву для обсуждения албанской проблемы и уже через несколько часов был принят в Кремле Сталиным в присутствии Молотова и Жданова. Казалось, что во время состоявшейся беседы было достигнуто полное согласие: Сталин вообще высказался за объединение Албании и Югославии, рекомендуя лишь не торопиться и провести объединение в подходящий момент с соблюдением пристойного decoruma, чтобы оно выглядело как добровольное с албанской стороны. Правда, остается неясным, отражало ли это заявление действительную позицию Сталина или имела место хитрая тактическая игра с югославами, призванная на самом деле сдержать их, скрывая советскую заинтересованность в албанском вопросе, по возможности потянуть время, чтобы подготовиться к последующему действенному пресечению югославских амбиций в отношении Албании. Но каковы бы ни были подлинные намерения Сталина, ему буквально тут же пришлось убедиться, что и югославское руководство «не лыком шито», ибо всего лишь через несколько дней он узнал, что Белград за спиной СССР обратился к Тиране и добился от нее согласия на ввод югославской дивизии в Албанию¹ (подробнее см. [13, с. 175—181; 14, с. 152—154]).

На сей раз реакция Москвы была несравненно более резкой, чем в случае с югославо-болгарским договором. Тем более, что в ответ на присланную Молотовым 28 января в Белград телеграмму, в которой ввод дивизии расценивался как способный спровоцировать «англо-саксов» на военное вмешательство под предлогом защиты независимости Албании, Тито «позволил себе» в беседе с послом СССР в Югославии А. И. Лаврентьевым выразить несогласие с советской аргументацией. Результатом стала направленная тремя днями позже новая телеграмма Молотова к Тито, в которой порядок, когда правительство Югославии решило послать войска в Албанию не только без консультации с советским правительством, но даже без последующего его уведомления, характеризовался как «ненормальный» и заявлялось о «серьезных разногласиях» СССР с югославским руководством «в понимании взаимоотношений между нашими странами». Лишь после такого «холодного душа» Тито в беседе с Лаврентьевым немедленно выразил согласие с тем, что решение направить дивизию без консультации с Москвой было ошибкой, и заверил, что дивизия (ко-

¹ Джилас, ведший переговоры в Москве, также не знал о решении ввести войска в Албанию — ему сообщили об этом постфактум. Как мы уже отмечали в одном из предыдущих очерков, до сих пор в югославской литературе, вопреки документам, хранящимся в югославских же архивах, утверждалось, будто инициатором ввода дивизии в Албанию была албанская сторона, якобы обратившаяся с просьбой об этом к Югославии. Никаких документальных оснований, естественно, не приводилось, а в качестве источника фигурировала упоминавшаяся уже книга В. Дедиера, от которой и берет начало эта версия [5, с. 501], совершенно, как теперь выяснилось из архивных материалов, не соответствующая действительности (неверное изображение получила впоследствии эта история и в мемуарах Э. Карделя [16, с. 116]). Не соответствует действительности и версия, введенная в оборот Э. Ходжей в его книге «Титоисты» и получившая хождение в албанской историографии. Ходжа упомянул лишь о письме к нему Тито, датированном, как утверждает в книге, 26 января 1948 г., с просьбой о предоставлении базы в Корче и изобразил дело таким образом, будто он так и не дал на эту просьбу положительного ответа [17, р. 439—444]. Но Ходжа умолчал, что еще 19 января ему была направлена из Белграда телеграмма с просьбой о предоставлении базы и размещении там дивизии и что 20 января он ответил согласием [18, IX 1/1 — 154, l. 1, 2; 19, I-3-b/34, l. 1; I-3-b/651, l. 24].

тору к тому времени еще не успели двинуть в Албанию) вообще введена не будет. Он заверил также, что югославское руководство впредь будет проводить предварительные консультации с советской стороной по внешнеполитическим вопросам. Но в советских верхах этим не удовлетворились. В первых числах февраля в Белграде получили третью телеграмму за подписью Молотова, в которой вновь содержалось утверждение, что «у нас с Вами имеются серьезные разногласия по внешнеполитическим вопросам», и предлагалось прислать в Москву не позднее 8—10 февраля 1948 г. «двух—трех ответственных представителей Югославского Правительства для обмена мнениями», чтобы «ликвидировать эти разногласия». В ответ на полученную телеграмму югославское руководство срочно отправило делегацию на московское совещание: в нее вошли два ближайших сподвижника Тито — Э. Кардель, второй по значимости человек в тогдашней правящей югославской верхушке, фактически возглавивший делегацию, и М. Джилас, находившийся в тот момент в Москве, а также менее влиятельный по сравнению с ними руководитель Хорватии В. Бакарич. 3 февраля Кардель и Бакарич выехали из Белграда поездом и 8 февраля утром прибыли в Москву, где их ждал Джилас (см. [14, с. 154—159; 15]).

Но в Москву были вызваны не одни югославы. Такое же «приглашение» одновременно получило и руководство Болгарии, которое, по мнению Кремля, также стало позволять себе некоторые вольности во внешнеполитических вопросах. Помимо эпизода с югославо-болгарским договором в 1947 г., особое недовольство Сталина вызвало заявление Димитрова по поводу перспектив создания федерации и таможенной унии балканских и в целом восточноевропейских «народно-демократических» государств, сделанное во время беседы с журналистами 17 января 1948 г. в поезде на пути в Софию из Бухареста, где накануне был подписан болгаро-румынский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Рассматривая этот случай более подробно в одном из предыдущих очерков, мы приводили слова Димитрова о том, что задача создания балканской или восточноевропейской федерации не стоит пока непосредственно ввиду преждевременности, однако в перспективе она будет создана, причем в числе ее вероятных участников он назвал не только все «народные демократии» от Балтики до Адриатики, но и Грецию, где шла гражданская война. Он высказался также за подготовку и затем осуществление таможенной унии с «союзными странами». Заявления Димитрова были опубликованы в болгарской и иностранной печати. 23 января обширное изложение поместила и «Правда», что должно было, принимая во внимание тогдашнюю практику, означать как бы освящение советской стороной сказанного Димитровым. Однако вскоре советская позиция резко изменилась: из Москвы в Софию была послана разносная шифротелеграмма Сталина². Следом Димитров был подвергнут публичной критике. 28 января «Правда» поместила заявление от редакции, в котором указывалось, что публикация в газете выступления Димитрова не означает согласия с ним по вопросам федерации и таможенной унии и что, наоборот, редакция считает эти проекты «надуманными». В заявлении говорилось, что вместо подобных проектов страны,

² Копия данной телеграммы была послана также в Белград Тито [13, с. 183]. Ранее мы пользовались текстом этой копии по ее публикации в переводе на сербскохорватский язык Дедиром [20, с. 309]. Теперь мы смогли познакомиться с хранящимся в Архиве Йосипа Броз Тито в Белграде оригинальным документом на русском языке. Вот его текст:

«София — Димитрову. Считаю своим долгом довести до вашего сведения, что ваше выступление на пресс-конференции в Софии в части, касающейся федерации или конфедерации стран народной демократии, в том числе Греция, Польша, Чехословакия и так далее, расценивается московскими друзьями как вредное, наносящее ущерб странам новой демократии и облегчающее борьбу англо-американцев против этих стран. Столь же неосторожным и вредным считается ваше заявление о таможенной унии между союзными странами. Следовательно, между странами, имеющими пакты взаимопомощи, что можно понять таким образом, что сюда включается также Советский Союз, который имеет или в скором времени будет иметь с ними пакт взаимопомощи. Трудно понять, что могло заставить вас сделать на пресс-конференции столь опрометчивые и непродуманные заявления. Дружков» [19, I-3-b/140, л. 7—8].

Дружков — обозначение Сталина, употреблявшееся тогда в секретной переписке.

которые упомянул Димитров, нуждаются «в укреплении и защите своей независимости и суверенитета путем мобилизации и организации внутренних народно-демократических сил, как правильно сказано об этом в известной декларации девяти коммунистических партий», т. е. в декларации, принятой на Информационном совещании в Шклярской Порембе в сентябре 1947 г., где было образовано Информбюро (см. подробнее [13, с. 184—185])³.

Анализируя эти события в предыдущих очерках, мы, однако, еще не рассматривали того, как реагировали на «холодный душ» из Москвы болгарское руководство и его лидер.

Сообщение о заявлении редакции «Правды» вечером того же дня, 28 января, было передано по прямой связи Димитрову [21, с. 116], который, как можно понять из воспоминаний его секретаря Н. Ганчовского, был чрезвычайно озабочен уже при получении телеграммы Сталина (см. [13, с. 183; 21, с. 113—114]). Это сказалося, очевидно, даже на самочувствии Димитрова — в день, когда он познакомился с телеграммой, ему стало нехорошо, у него был, по словам секретаря, не только удрученный, но и «увядший» вид, а после обеда поднялась температура. И хотя на следующий день температура спала и самочувствие улучшилось, однако оставалась «общая слабость и усталость» и он продолжал быть «чем-то озабочен» [21, с. 115]. На разнос из Москвы руководитель Болгарии реагировал в духе привычной тогда в коммунистическом движении дисциплины: он выразил согласие с тем, что совершил ошибку, и, по свидетельству того же Ганчовского, был готов «сделать соответствующие выводы» [21, с. 117]. Таким же образом Димитров действовал и за полгода до того, в ответ на сталинскую критику по поводу «преждевременного объявления» о согласовании югославо-болгарского договора. Тогда, получив осуждающую телеграмму Сталина, Димитров, который, судя по документам, и был инициатором скорейшего заключения договора, форсировал его подписания [19, I-2/17, л. 1, 3—4, 7—8], тут же телеграфировал Тито: «В связи с сообщением нашего большого друга (Сталина. — Л. Г.) надо признаться, что мы увлеклись по вопросу о договоре. В целях исправления допущенной нами ошибки необходимо, по-моему, аннулировать этот акт, а когда на-

³ Вопрос о причинах столь резкого поворота уже рассматривался нами в одном из предыдущих очерков. При этом констатировалось, что документами на сей счет мы пока не располагаем, но отнюдь не лишено логики соображение, неоднократно высказывавшееся в югославской и западной литературе: «вождь народов» испугался перспективы объединения восточноевропейских стран, опасаясь утраты контроля над ними [13, с. 184]. Сам он, однако, приводил обычный в подобных случаях аргумент о том, что заявления Димитрова могут быть использованы «англо-американцами», хотя не расшифровывал, как именно. Но каковы бы ни были действительные причины, мы уже обращали внимание на то, что еще до сталинского «гнева» и даже до опубликования заявлений Димитрова не только «Правдой», но и болгарской печатью, Тито телеграммой от 19 января поручил находившемуся в Москве Джиласу обратиться в связи с интервью Димитрова к советскому руководству с просьбой «повлиять на болгарских товарищей, чтобы те были осторожнее, делая заявления». В телеграмме необходимость этого аргументировалась тем, что упоминание Димитровым Греции в числе будущих членов федерации может быть использовано «американцами и греческой реакцией» в качестве основания для попытки свалить вину за гражданскую войну на соседние с Грецией страны, т. е. Югославию, Албанию и Болгарию. Несколько дней спустя Джилас выполнил поручение, побеседовав на данную тему со Ждановым, который, однако, уклонился от определенного ответа: не обещал, что советская сторона «повлияет» на болгар, но, по его мнению, Димитрову едва ли стоило высказываться на эту тему [19, I-3-b/651, л. 15, 18]. Видимо, к моменту беседы Джиласа со Ждановым Сталин еще не пришел к определенному решению, чем и объяснялась уклончивая позиция Жданова. По всей вероятности, Жданов доложил затем о югославской просьбе Сталину. В связи с этим мы уже задавались вопросом, было ли сталинское решение фактически подсказано позицией Тито или здесь имело место простое совпадение по времени и Сталин пришел к своему выводу независимо от югославских соображений, до того, как узнал о них? Так или иначе, но Тито, пожаловавшийся в Москву на Димитрова, оказался в этом случае целиком на позиции, занятой Сталиным. А вот что было причиной югославской жалобы, пока не ясно. Возможно, она действительно объяснялась теми соображениями, которые излагались в телеграфном поручении Тито Джиласу. Но нельзя исключать и другого: югославское руководство могло быть встревожено идеей федерации в рамках всего восточноевропейского региона, опасаясь, что в таком случае оно не сможет играть той ведущей роли, которая бы ему несомненно принадлежала при создании планировавшейся ранее федерации с соседними балканскими странами — Албанией и Болгарией (см. [13, с. 183—184]).

ступит благоприятное время, после соответствующей консультации с советскими друзьями, договор подписать и объявить публично» [18, IX 1/II-79, л. 1]. В конце января 1948 г. болгарский лидер также был готов после сталинской критики отказаться от стратегических идей, выраженных в беседе с журналистами 17 января, хотя идеи эти и их публичная «подача» были им продуманы. Ганчовский свидетельствует, что свои заявления, сделанные в ходе упомянутой беседы, Димитров специально отредактировал для их обнародования в печати, в том числе значительно сократил [21, с. 97]. Так что официально опубликованный вариант его интервью отнюдь не был лишь сиюминутной импровизацией.

В подобной готовности отступить от своей точки зрения Димитров был, как мы видели, отнюдь не одинок — аналогично, хотя, быть может, не столь стремительно, поступил и Тито после второй «албанской» телеграммы Молотова, хотя решение о вводе дивизии в Албанию также было им основательно продумано. Привычная иерархия отношений заставляла руководителей «народных демократий» перед лицом «кремлевского гнева» брать под козырек. Однако положение, в котором оказался Димитров, отличалось от «албанского эпизода» одной весьма щекотливой особенностью. И само решение Тито направить дивизию в Албанию и гнев советских верхов по этому поводу были закулисными, скрытыми от публики. Соответственно и покаяние югославского лидера и отмена им первоначального решения также были тайными, скрытыми от общественности, не грозили ему публичной дискредитацией. С Димитровым же дело обстояло иначе. Молчаливым «признанием ошибки» тут было не обойтись. Правила «большевистской самокритики» требовали от Димитрова публичного самобичевания. Однако он попытался найти иное решение — фактически дезавуировать собственные высказывания и выразить согласие с заявлением редакции «Правды», в то же время «сохраняя лицо». С этой целью документ, помещенный 28 января в «Правде» от имени ее редакции, был целиком опубликован 29 января в болгарской печати одновременно со срочным подготовленным сообщением Болгарского телеграфного агентства, которое, как заявлялось, «уполномочено дать следующее разъяснение»:

«В своем интервью перед иностранными корреспондентами, в поезде между Бухарестом и Джурджу, премьер-министр Георгий Димитров ясно подчеркнул, что вопрос о создании федерации или конфедерации он считает преждевременным и неактуальным вопросом и потому по этому вопросу не было никакого обсуждения между болгарской и румынской правительственными делегациями в Бухаресте, так же как не было такого обсуждения и при заключении договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Болгарией и Югославией и Болгарией и Албанией (первый был заключен 27 ноября, второй — 16 декабря 1947 г. — Л. Г.).

Точка зрения премьер-министра и болгарского правительства, как это можно видеть из ряда делавшихся до сих пор заявлений премьер-министра, заключается в том, что основной гарантия независимости и суверенитета Народной Республики Болгарии состоит именно в мобилизации и организации ее внутренних народно-демократических сил.

Ни премьер-министр, ни какой-либо другой член правительства не думал и не думает о создании восточного блока в какой-либо форме (выделено в документе. — Л. Г.), как апостолы и создатели западного блока тенденциозно пытаются извратить действительную точку зрения нашего правительства.

Что касается вопроса о таможенной унии, премьер-министр имел в виду не общий таможенный союз в Восточной Европе, а заключенные договоры между Болгарией и Югославией, Болгарией и Румынией и Болгарией и Албанией, в которых предусматривается подготовка таможенной унии между этими странами. Впрочем, вопрос о таможенной унии между Болгарией и Сербией в прошлом не только обсуждался, но даже был решен между двумя странами еще в 1904 году, но ее осуществление было тогда сорвано путем внешнего давления со стороны бывшей Австро-Венгерской монархии и Германии. Вопрос о таможенном союзе с другими государствами не поднимался ни в интервью премьер-министра, ни вообще.

Кроме того, премьер-министр в своем интервью ясно заявил, что экономические отношения, которые устанавливаются между нашими странами, никак не исключают экономических отношений с западными государствами. Мы хотим, заявил он, таких экономических отношений, при которых имеет место взаимное уважение интересов и особенно нашей национальной независимости и государственного суверенитета» [22, 1948, 29 1].

Нетрудно заметить, что этот документ, составленный непосредственно в присутствии Димитрова [21, с. 116], представлял собой попытку изоб-

разить дело таким образом, будто все, сказанное руководителем Болгарии по поводу федерации и таможенной унии, не только не противоречит, но, наоборот, соответствует той позиции, которая содержалась в заявлении редакции «Правды». Разумеется, подобная «хитрость» была, что называется, шита белыми нитками, но позволяла хотя бы формально сделать вид, что Димитров якобы придерживался в своем интервью правильной точки зрения, совпадающей с советской. Однако здесь возникал новый щекотливый момент: получалось, что критика «Правдой» высказываний Димитрова как бы бесосновательна — его просто неправильно поняли. И сообщение БТА, независимо от намерений его авторов, приобретало характер возражения против «несправедливой критики». Мы не знаем, были ли по этому поводу направлены болгарскому лидеру какие-либо новые представления из Москвы. Но четыре дня спустя на открывшемся 2 февраля II съезде Отечественного фронта он счел необходимым вернуться к этой истории еще раз, чтобы все-таки сказать, что критика в его адрес была обоснованной. Это, хотя опять-таки в сильно смягченной форме, как бы не затрагивавшей лично им, Димитровым, высказанных положений, было сделано в его докладе «Отечественный фронт, его развитие и предстоящие задачи» в первый день съезда. Касаясь тесного сотрудничества Болгарии с СССР и «народными демократиями», усилий по укреплению связей с ними, он особо указал:

«Но, разумеется, мы далеки от мысли о создании какого-то восточного блока в какой-либо форме, как неверно толкуют это инициаторы создания западного блока и их агенты.»

В этой связи я пользуюсь случаем заявить, что критические замечания газ. „Правда“, центрального органа Всесоюзной Коммунистической партии (большеви-ков), по поводу той части последнего моего интервью, которая относится к вопросу об эвентуальном создании федерации или конфедерации балканских и дунайских государств с включением Польши, Чехословакии и Греции и о создании таможенного союза между ними, а именно, что „эти страны нуждаются не в проблематической и надуманной федерации или конфедерации и не в таможенной унии“ и что то, в чем они нуждаются, это в укреплении и защите их независимости и суверенитета путем мобилизации и организации внутренних народно-демократических сил, как правильно подчеркнуто в известной декларации 9-ти коммунистических партий, — что эти замечания газ. „Правда“ обоснованны и являются своевременным, ценным и полезным предупреждением против возможных неуместных и вредных для народных демократий увлечений» [22, 1948, 3 II].

О том, что эти «увлечения» принадлежат ему самому, Димитров по-прежнему предпочел не упоминать, но ясно заявил об «обоснованности», «своевременности», «ценности» критики, прозвучавшей из СССР в его адрес. Не исключено, что он сделал это, получив как раз в тот момент вызов из Москвы с указанием на «серьезные разногласия по внешнеполитическим вопросам». Вызов «ответственных представителей» болгарского правительства показал Димитрову, что дело приобретает более чем серьезный оборот. Поэтому 9 февраля утром из Софии в Москву самолетом тайно вылетели трое главных руководителей компартии и правительства Болгарии — сам Г. Димитров, В. Коларов и Т. Костов [21, с. 145]. В тот же день они прибыли в советскую столицу, где уже находилась югославская делегация. Приезд югославы и болгар был окружен строгой секретностью, о нем ничего публично не сообщалось. А на 9 часов вечера 10 февраля была назначена секретная встреча в Кремле обеих делегаций с советским руководством [19, I-3-b/651, л. 33].

Как было недавно заявлено, документов о содержании переговоров, происходивших во время этой встречи, в архивных материалах МИД СССР не имеется [11]. Пока вообще нет данных о каких-либо советских документах, в которых бы освещалась встреча 10 февраля, равно как и о такого рода болгарских документах. Все имеющиеся до сих пор сведения исходят лишь от ее югославских участников.

Впервые о встрече стало известно из уже упоминавшейся биографии Тито, написанной Дедиером по заданию югославского руководства [5, с. 497—504]. Излагая в беллетризованной форме ход заседания в Кремле, Дедиер использовал письменный отчет, представленный М. Джиласом в ЦК КПЮ после возвращения из Москвы, а также то, что рассказывал

диеру, Э. Кардель в 1952 г., когда писалась книга [5, с. 498; 20, с. 283, 313—315]. Это свое описание Дедиер повторил и в новом, многотомном варианте биографии Тито, который начал печататься в 80-е годы [20, с. 288—294]. Много позже первой публикации Дедиера содержание встречи было изложено ее югославскими участниками: Джиласом, порвавшим уже к тому времени с коммунизмом и ставшим диссидентом, — в его мемуарных книгах, изданных на Западе [23, р. 114—120; 24, S. 184—192]; а теперь выходящих и в Югославии [25, с. 111—118], и Карделем — в его воспоминаниях, продиктованных незадолго до смерти [16, с. 112—117]. На этих материалах и основывались до сих пор все зарубежные и советские авторы, касавшиеся совещания в Москве.

Будучи не только важным, но и единственным источником сведений о московской встрече, которым до недавнего времени располагала историческая наука, указанные материалы требуют, однако, критического отношения. Например, первая из упомянутых книг Дедиера, писавшаяся еще в период советско-югославского конфликта, имела очевидные пропагандистские задачи и, как впоследствии отмечал сам автор, подвергалась редактированию со стороны Тито, Карделя и Джиласа в соответствии с тогдашними политическими установками, в том числе и при освещении советско-югославо-болгарской встречи в Москве [20, с. 283—284, 291—293]. Позднее Джилас, став диссидентом, при работе над мемуарами не был скован прежними соображениями политико-идеологической «целесообразности», однако, он уже не мог воспользоваться своим составленным в 1948 г. отчетом, единственный — рукописный — экземпляр которого хранился у Тито, а потому был вынужден опираться только на память и на опубликованное до него (т. е. на того же Дедиера) [24, S. 184—185; 25, с. 111]. Кардель, диктуя воспоминания, также не мог проверить или уточнить излагаемое, ибо был болен [16, с. 13—14], да к тому же его подход к освещению истории — это подход человека, по-прежнему, в отличие от Джиласа, являвшегося одним из ведущих деятелей партийно-государственного руководства Югославии.

Но о московской встрече 10 февраля 1948 г. существуют и документы непосредственно того времени, с которыми нам удалось познакомиться. Они хранятся в белградском Архиве Йосипа Броз Тито и до недавних пор были недоступны исследователям. Один из них — шифротелеграмма с кратким сообщением о встрече, посланная на следующий после нее день из Москвы в Белград и подписанная Карделем, Бакаричем и Джиласом [19, I-3-b/651, л. 45—46]. Другой, гораздо более обширный документ — уже упоминавшийся рукописный восьмистраничный отчет Джиласа, составленный им сразу по возвращении делегации в Белград и предназначенный для информирования узкого круга югославской «верхушки» [19, I-3-b/651, л. 33—40]. Как отмечено в отчете, он писался не только по памяти, но и на основе заметок, сделанных прямо на заседании в Кремле. Эти документы можно, очевидно, считать наиболее адекватным изложением того, что происходило на заседании. До сих пор первый из них вовсе не привлекался, второй, как уже говорилось, использовался Дедиером, но довольно своеобразно. Как показывает сравнение, Дедиер без каких-либо указаний на источник просто заимствовал из него, раскавычив, значительные части, однако при этом подверг их произвольному редактированию, «спрямляя» текст таким образом, что ход встречи в Кремле представлялся в весьма огрубленном виде, со смещением ряда существенных акцентов, зафиксированных у Джиласа.

Как же выглядит совещание 10 февраля 1948 г. при сопоставительном анализе упомянутых источников?

Оно началось примерно в четверть десятого вечера и продолжалось около трех часов⁴. Советская сторона была представлена на самом высоком уровне — И. В. Сталиным, В. М. Молотовым, А. А. Ждановым, Г. М. Ма-

⁴ В мемуарах Джиласа говорится, что встреча длилась около двух часов [24, S. 192; 25, с. 118] (в мемуарах Карделя о ее продолжительности вообще не упоминалось), но в шифротелеграмме указано — «3 часа», в отчете Джиласа — «около трех часов» [19, I-3-b/651, л. 33, 45].

ленковым, а также М. А. Сусловым, который девятью месяцами раньше стал секретарем ЦК ВКП(б) и в этом качестве ведал по «епархии» Жданова частью вопросов идеологической сферы и международного коммунистического движения. Присутствовал также заместитель министра иностранных дел СССР В. А. Зорин, ведавший отношениями с восточноевропейскими «народными демократиями». Состав советских участников свидетельствовал о большом значении, которое придавали в Кремле этой встрече. С болгарской и югославской сторон на совещании присутствовали уже упомянутые представители. Все двенадцать участников расположились за столом, во главе которого сидел Сталин; справа от него — советские участники, слева — болгарские и затем югославские.

Насколько можно судить по отчету Джиласа, это не были переговоры, ведшиеся по определенному порядку, с установленной повесткой дня. Встреча проходила неформально и напоминала, скорее, беседу по некоторому кругу вопросов, причем к тем или иным из них возвращались по несколько раз, перескакивая от одного к другому и вновь повторяя уже высказанные соображения и аргументы. Последнее вызывалось преимущественно Сталиным, почти все время перебивавшим других репликами, то довольно короткими, то продолжительными, превращавшимися, по сути, в выступления, которые, естественно, выслушивались внимательно и до конца. И сам он повторялся больше всех. Было ли это следствием особого возбуждения в связи с характером обсуждавшихся проблем или же результатом возрастных изменений, какого-то болезненного состояния? Трудно сказать. Как бы то ни было, и Джилас и Кардель впоследствии свидетельствовали в своих воспоминаниях, что «вождь народов» был явно в состоянии сильного раздражения, в частности, позволял себе весьма грубый тон в отношении гостей, особенно Димитрова. Кроме Сталина, с советской стороны в беседе активно участвовал лишь Молотов да один раз в отчете Джиласа зафиксирована реплика Жданова, остальные, очевидно, сидели молча, как статисты. Болгары, хотя и в разной степени, говорили все, а из югославов — почти исключительно Кардель и, согласно отчету, только единожды Джилас, какое-либо участие Бакарича не отмечено.

Согласно всем названным источникам, первым на встрече выступил Молотов. Повторяя то, что уже было сформулировано в телеграммах, которыми советское руководство вызвало в Москву югославских и болгарских «ответственных представителей», он сразу же поставил вопрос о возникновении «серьезных разногласий» по поводу внешней политики между правительством СССР, с одной стороны, и правительствами Югославии и Болгарии — с другой. Конкретно было указано на те три случая, которые мы рассматривали: исчерпанная и к тому времени, казалось, забытая история в связи с югославо-болгарским договором в 1947 г.; недавние заявления Димитрова журналистам; решение о вводе югославской дивизии в Албанию. По поводу всех этих случаев Молотов и особенно почти сразу вступивший в обсуждение Сталин (он перебивал не только гостей, но и Молотова) выдвигали прежде всего два общих обвинения.

Во-первых, действия болгарской и югославской сторон характеризовались как серьезные ошибки, которые могут быть использованы американцами и англичанами против интересов СССР и «народных демократий». При этом фигурировали аргументы, аналогичные выдвигавшимся советским руководством в упомянутых выше телеграммах, которые направлялись в Белград и Софию. Так, по поводу коммюнике о болгаро-югославской встрече на Блде 30 июля — 1 августа 1947 г. Молотов, как видно из отчета Джиласа, повторил то же, что говорилось в августе 1947 г. в телеграммах Сталина Димитрову и Тито: нельзя было приступать к заключению договора до тех пор, пока не вступил в силу мирный договор с Болгарией и тем самым не истек срок ограничений, накладывавшихся на Болгарию как на бывшую вражескую страну, находившуюся до указанного момента под союзническим контролем, участниками которого помимо СССР выступали Великобритания и США, противившиеся болгаро-югославскому договору (см. [19, I-3-b/651, l. 33]; ср. [13, с. 172—175]).

Относительно заявлений Димитрова о федерации и таможенной унии Сталин на встрече повторил уже сказанное им в посланной примерно за две недели до этого телеграмме Димитрову. В отчете Джиласа зафиксировано по этому поводу: «Сталин ему (Димитрову. — Л. Г.) говорит, что он хотел удивить весь мир, и добавляет, что это было похоже на то, как секретарь Коминтерна долго и подробно объясняет, что и как нужно. Он (Сталин. — Л. Г.) говорит, что этим дается пища американской реакции». Но в отличие от телеграммы, в которой никак не разъяснялось, чем именно и каким образом могут воспользоваться «англо-американцы», на сей раз кремлевский хозяин конкретизировал, что имеется в виду. «Затем он, — продолжает Джилас свой отчет, — говорит о значении выборов в Америке ⁵ и о том, что нужно внимательно следить за тем, чтобы ничем не дать реакции аргументов, которые облегчили бы ей победу. Не нужно, по его мнению, дать реакции никакой зацепки. Нынешнее американское правительство еще сдерживается, но могут прийти к власти денежные мешки и акулы. Реакция в Америке говорит, когда слышит подобные заявления (т. е. такие, как заявления Димитрова о федерации и таможенной унии. — Л. Г.), что на востоке Европы не только создается блок, но и объединяются в общие государства» [19, I-3-b/651, л. 35—36] ⁶. А Молотов по этому поводу подчеркнул, что «если Димитров или Тито дают заявления для печати, весь мир думает, что такова и точка зрения Советского Союза» [19, I-3-b/651, л. 33]. И о югославском решении послать дивизию в Албанию Сталин высказал на встрече то же, на что указывалось в первой молотовской телеграмме Тито по этому вопросу, а именно — опасение, как бы не произошло военного вмешательства англичан и американцев под флагом защиты албанской самостоятельности. В своем отчете Джилас так передал слова Сталина: «Три мировые державы — СССР, Англия и Америка особым договором гарантировали независимость Албании ⁷. Албания является нашим самым слабым звеном, так как любое другое государство или [состоит] в Объединенных Нациях, или признано и т. п., а Албания нет. Если бы югославские войска вошли в Албанию, реакция в Англии и Америке могла бы использовать это и выступить как защитник албанской независимости» [19, I-3-b/651, л. 36].

Во-вторых, Сталин и Молотов по поводу всех трех случаев выдвинули на встрече 10 февраля и другое общее обвинение в адрес руководителей Болгарии и Югославии, которое также содержалось в упоминавшихся выше телеграммах. В качестве криминала фигурировало то, что в указанных случаях болгары и югославы действовали без предварительной консультации с советской стороной, не согласовывали с ней своих шагов и даже не ставили ее в известность. Эту мысль, согласно отчету Джиласа, на протяжении всего совещания в Кремле многократно повторяли и Молотов и Сталин, о том же подал свою (единственную, если судить по отчету) реплику и Жданов. Они подчеркивали, что в случаях с объявлением о болгаро-югославском договоре и с заявлениями Димитрова Москва узнавала все уже постфактум из газет, а о решении ввести югославскую дивизию в Албанию — случайно, по утверждению Молотова, от албанцев, которые «сказали русским, что думали, что вступление югославских войск согласовано с Советским Союзом, а между тем это не было так» [19, I-3-b/651,

⁵ Очевидно, имелись в виду предстоявшие в ноябре 1948 г. выборы президента и конгресса США.

⁶ При этом Сталин резко раскритиковал и то объяснение по поводу сказанного Димитровым о федерации и таможенной унии, которое попыталось дать болгарское руководство в заявлении БТА. В отчете Джиласа отмечено: «Сталин добавляет, что дополнительное объяснение Димитрова (он имеет в виду, вероятно, заявление Болгарского телеграфного агентства) ничего не объяснило. Сталин приводит, что в этом заявлении говорится, что Австро-Венгрия воспрепятствовала таможенной унии между Болгарией и Сербией, и добавляет, что это значит — раньше немцы, а теперь мы (то есть Советский Союз) препятствуем таможенной унии» [19, I-3-b/651, л. 34].

⁷ Речь шла о договоренности, в соответствии с которой 17—18 декабря 1942 г. госсекретарь США К. Хэлл, министр иностранных дел Великобритании А. Иден и народный комиссар иностранных дел СССР сделали заявления сходного содержания о непризнании итальянской оккупации Албании и о поддержке восстановления ее независимости.

1. 33, 34, 36, 38] ⁸. При этом, как следует из отчета Джиласа, Сталин делал обобщения, по сути выходящие за рамки упомянутых трех случаев, придавая «неинформированию СССР» характер общей позиции Болгарии и Югославии, системы их действий во внешней политике: «Он (Сталин. — Л. Г.) говорит, что им болгары и югославы не сообщают ничего, а они (т. е. советское руководство. — Л. Г.) все узнают на улице, поставленные обычно перед совершившимся фактом». Это, заявил Сталин в частности о Югославии, стало «системой» [19, I-3-b/651, л. 36, 38].

Таковы два главных пункта обвинения, выдвинутые советской стороной на встрече 10 февраля, причем, как следует из отчета Джиласа, а в еще большей мере из воспоминаний его и Карделя, в весьма жестком тоне. Из этих источников видно, что положение, о котором говорилось во втором из пунктов обвинения, советское руководство рассматривало как совершенно недопустимое. Такая реакция Кремля была неудивительной, ибо «вольности» вроде тех, что позволили себе София и Белград, в корне противоречили всей системе иерархических отношений «народных демократий» с Советским Союзом как с руководящим центром, которая усиленно внедрялась и поддерживалась Москвой. Нарушения субординации грозили самым основам этой системы, на которой строился «социалистический лагерь», были для нее столь опасными прецедентами, что Сталин и его окружение поторопились незамедлительно пресечь всякую возможность их повторения.

В качестве практического вывода из претензий, предъявленных югославам и болгарам, Сталин и Молотов, как зафиксировано в упомянутых архивных документах, заявили в ходе встречи 10 февраля о необходимости подписать протокол, обязывающий, с одной стороны, Советский Союз, с другой — его партнеров по встрече неукоснительно осуществлять взаимные консультации по вопросам внешней политики [19, I-3-b/651, л. 38—39, 45]. И хотя Сталин подчеркивал «взаимость» данной процедуры, обязательство и СССР информировать своих партнеров о внешнеполитических планах и намерениях, однако понятно, что на деле это должно было стать средством более жесткого контроля Москвы за действиями Софии и Белграда.

Сложнее оценить, какую реальную роль играл первый из названных пунктов обвинения, выдвинутых советской стороной. Действительно ли в тех трех случаях, о которых шла речь на совещании 10 февраля, советское руководство так сильно опасалось неблагоприятного реагирования Запада, чтобы фактически в чрезвычайном порядке собирать в Москве столь высокую по уровню трехстороннюю встречу и проводить ее на таком накале? Или здесь было сознательное нагнетание страхов, призванное всего лишь подкрепить второе обвинение и закамуфлировать истинные, гегемонистские по своему характеру стремления Кремля?

(Продолжение следует)

⁸ О решении относительно размещения югославской дивизии в Албании сообщил в Москву 21 января 1948 г. посол СССР в Югославии Лаврентьев [14, с. 153]. Его информация поступила, таким образом, на следующий же день после получения в Белграде 20 января телеграммы Ходжи с положительным ответом на соответствующую просьбу Тито. Однако в упоминавшейся выше второй телеграмме, которую Молотов послал по этому поводу Тито 31 января, утверждалось, что «Совпра (Советское правительство. — Л. Г.) совершенно случайно узнало о решении югославского правительства относительно отправки Ваших войск в Албанию из частных бесед с албанскими работниками» [12, с. 59]. Ту же версию Молотов повторил на встрече 10 февраля. В книге Ходжи «Титоисты» говорится, что именно он, Ходжа, мягко говоря, отнюдь не испытывавший энтузиазма от перспективы появления в стране югославских войск, сообщил советской дипломатической миссии в Тиране о предложении Тито ввести дивизию в Албанию и просил, чтобы Сталин высказал свое мнение об этом. Однако по версии Ходжи получается, что его обращение в советскую миссию произошло позже, по крайней мере после 26 января, которым Ходжа (как мы уже отмечали, неверно) вообще датирует просьбу Тито [17, р. 443, 445]. В итоге остается пока неясным, были ли сведения о югославском намерении разместить дивизию в Албании получены советской стороной из какого-то албанского источника раньше того, как в Москву поступило сообщение Лаврентьева, или же советское руководство впервые узнало об этом именно от Лаврентьева, а ссылалось на албанцев ради камуфляжа, не выдавая свое посольство в Белграде, располагавшее неофициальными, тайными источниками информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Зеленин В.* Урок прошлого — для будущего.— Новое время, 1988, № 18.
2. *Полегаев Г. А.* Отлучение Югославии.— Эхо планеты, 1988, № 16.
3. *Гиренко Ю. С.* СССР — Югославия: 1948 год.— Новая и новейшая история, 1988, № 4.
4. *Зеленин В.* Сталин против Тито: Истоки и перипетии конфликта 1948 года.— Наука и жизнь, 1990, № 6.
5. *Дедижер В.* Јосип Броз Тито: Прилози за биографију. Београд, 1953.
6. *Волков В. К., Гибианский Л. Я.* Отношения между Советским Союзом и социалистической Югославией: опыт истории и современность.— Вопросы истории, 1988, № 7.
7. Советско-югославский конфликт 1948—1953 гг.: причины, развитие, последствия и уроки («Круглый стол»).— Рабочий класс и современный мир, 1989, № 3.
8. Политические уроки одного конфликта: Авторизованная стенограмма советско-югославской партийно-научной консультации «Политические уроки конфликта КПЮ с Информбюро (1948—1953 гг.)». М., 1989.
9. Все мы вышли из сталинской шинели.— Литературная газета, 1990, 21 III, с. 14.
10. СССР — Югославия. 1948 год в современном прочтении.— Советское славяноведение, 1990, № 4.
11. СССР — Югославия: год 1948-й— Правда, 1990, 6 III.
12. Конфликт, которого не должно было быть (из истории советско-югославских отношений).— Вестник Министерства иностранных дел СССР, 1990, № 6.
13. *Гибианский Л. Я.* У начала конфликта: балканский узел.— Рабочий класс и современный мир, 1990, № 2.
14. *Бухаркин И. В., Гибианский Л. Я.* Первые шаги конфликта.— Рабочий класс и современный мир, 1990, № 5.
15. *Гибианский Л. Я.* Вызов в Москву.— Политические исследования, 1991, № 1.
16. *Kardelj E.* Borba za priznanje i nezavisnost nove Jugoslavije 1944—1957. Sečanja. Beograd; Ljubljana, 1980.
17. *Hoxha E.* The Titoites. Historical notes. Tirana, 1982.
18. Arhiv SK SKJ (Белград).
19. Arhiv Josipa Broza Tita (Белград). Kabinet Maršala Jugoslavije.
20. *Dediđer V.* Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita. Т. 3. Beograd, 1984.
21. *Ганчовски Н.* Дните на Димитров, каквито ги видях и записах. Т. 2. София, 1975.
22. Работническо дело.
23. *Djilas M.* Consersations with Stalin. New York, 1962.
24. *Djilas M.* Jahre der Macht: Kräftespiel hinter dem Eisernen Vorhang. Memoiren 1945—1966. München, 1983.
25. *Djilas M.* Razgovori sa Staljinom. Beograd, 1990.



ПИМЕНОВА И. В.

«НОВАЯ» ПОЛЬСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ

Интерес к послевоенной польской интеллигенции в советской историографии до сих пор был характерен двумя подходами: либо как к субъекту исключительно творческой деятельности, либо как к объекту партийно-государственной политики. В первом случае интеллигенция фигурировала как создатель высших духовных ценностей, во втором — рассматривалась преимущественно в ее отношениях с идеологическим руководством страны. Задача данной работы — обратить внимание не на избранный круг этой общественной группы, а на массового ее представителя в первом поколении, которое формировалось после 1945 г. в новых исторических обстоятельствах.

Представления об интеллигенции, сложившиеся в польской общественной мысли начала века, объективно отражали социальную роль и функции этой группы, конституирование которой завершилось лишь в конце XIX в. В отсутствие собственной государственности именно на интеллигенцию, прежде всего художественную, легла обязанность сохранения культурных традиций и развития национальной духовной жизни. А объединяющим нацию социальным институтом по необходимости выступала католическая церковь. Религия и искусство служили в массовом сознании гарантом непрерывности национального бытия и залогом возрождения в будущем. Ксендз, литератор, школьный учитель — вот кто поддерживал в народе идею нации и ее ценностей.

В среде самой интеллигенции выпавшая на ее долю историческая задача была освоена как миссия «национального вождя», социально как бы «экстерриториального», надклассового, равно удаленного и от идеологии рабочего движения и от идеологии буржуазного предпринимательства. Классовая теория общественного развития, как и позитивистская теория «органического труда» были одинаково непопулярны в обыденном сознании рядового польского интеллигента.

Невосприимчивость к идейным влияниям новых общественных классов, выходящих на историческую арену, поддерживалась не только мессианско-романтической традицией, укоренившейся в интеллигентской психологии. Сама эта традиция изживалась трудно и медленно потому, что иного применения себе за пределами «духовного предводительства» польская интеллигенция в массе своей не находила. Готовность к исполнению политических функций ограничивалась отсутствием государственной независимости. Участие в экономической жизни сдерживалось слабым развитием промышленности, господством иностранного капитала и привлечением зарубежных специалистов. Эти объективные факторы тормозили и расширение социальной базы интеллигенции, пополнявшейся в основном из

разорвавшейся шляхты, и ее профессиональную дифференциацию: подавляющее большинство в ее структуре составляли лица свободных профессий. Невостребованность интеллигенции в общественном производстве, ограниченность ее социальных контактов лишь усиливали замкнутость и солидарность основной массы представителей этого слоя.

В буржуазной Польше межвоенного двадцатилетия заметно повышается спрос на работников умственного труда. Развитие государственно-административного аппарата, консолидация школьного дела и народного просвещения, оживление культурной жизни на местах и в центре втягивали интеллигенцию в круг проблем, которые хотя бы отчасти она обязана была решать самостоятельно. Расширяются источники ее рекрутирования: мелкая и средняя буржуазия, пролетариат, крестьянство. Вместе с демократизацией социальной базы наблюдались сдвиги и в социально-политических ориентациях интеллигенции, гомогенность ее психологии явно размывалась: «Каждый общественный класс создавал для себя собственный отряд интеллигенции, собственных политических деятелей, журналистов, идеологов, писателей, идентифицирующих себя с данным классом» [1, с. 453].

Не следует, разумеется, думать, что процесс идейного размежевания внутри интеллигенции обозначился лишь в условиях буржуазной Польши. С самого начала эта социальная общность не представляла собой монолитного целого. На протяжении всего XIX в. оформлялись и противостояли друг другу революционно-демократические и буржуазно-националистические течения, каждое из которых было представлено, в свою очередь, несколькими политическими партиями и группировками. Однако те отряды интеллигенции, которые сознательно связывали свою судьбу с профессиональной политической работой, были немногочисленны, а влияние их на основную массу интеллигенции колебалось в зависимости от «текущего исторического момента».

До тех пор, пока существовала почва для поддержания в этой массе стереотипа интеллигента как единственного носителя и генератора национальной духовной жизни, она тяготела к националистическим ориентациям. С обретением государственного суверенитета утрачивалась как бы и сама санкция на правомерность такой исключительной роли в обществе. Интеллигенция начинает постепенно осознавать себя совершенно в ином контексте — контексте определенных, жестких экономических, политических и социальных зависимостей¹. С одной стороны, интеллигенция оказывается втянутой в государственное управление, в обслуживание общественной надстройки, с другой — эти функции исполняются ею по найму. Двойственность социального положения проявляется и в двойственности сознания: в ожидании дивидендов за преданность системе и одновременно в солидарности с интересами класса наемных работников.

Углубляется расхождение между обеспеченными группами интеллектуальной и художественной элиты, связанной с аппаратом власти, и возрастающей массой «пролетариев умственного труда». Заработная плата последних зачастую устанавливается ниже даже среднего для данной категории уровня, они первыми выбрасываются на улицу в годы экономической стагнации, что заметно расшатывает их социальные иллюзии.

Однако к радикальной оппозиции и теперь примыкали немногие. Обыденное сознание преобладающей части интеллигенции по-прежнему воспроизводило ценности шляхетской морали, корнями своими уходящей в этос феодального аристократизма. По свидетельству довоенного социолога С. Рыхлинского, «нигде, пожалуй, общественная дистанция между умственным трудом, будь он самого низкого качества, и физическим, даже если он отличался конструктивностью, не проявлялась так отчетливо, как в Польше» (цит. по [3, с. 182]). Не пол зность выполняемой работы и

¹ Своёобразно фиксируют эту «смену оптики» в самосознании интеллигенции польские ученые межвоенного периода. В их трудах очевиден отход от мессианского, внеисторического образа интеллигенции, она начинает рассматриваться как компонент социальной структуры, в аспекте своих служебных, подчиненных общественным потребностям функций [2].

даже не материальный достаток, не приобщенность к кругу «образованных людей» служило, как некогда «голубая кровь», гарантом достойного общественного положения. Выраженная непрактичность интеллигентского сознания поддерживалась еще и тем, что слабые темпы развития экономики в буржуазной Польше не слишком понуждали к приобретению технических профессий. Инженеры и техники, специалисты сельского хозяйства в структуре интеллигенции составляли от 7,9% в 1921 г. до 15,9% в 1939 г., тогда как чиновничество, лица гуманитарных и свободных профессий, духовенство — от 35 до 40% [4, s. 321, 328]. Отстаивая право на «независимость мышления», на исполнение роли «совести народа», интеллигенция не подкрепляла этих претензий завоеванием сильных экономических (а следовательно, и политических) позиций. В такой ситуации свою автономность интеллигенция оберегала избранным кругом общения и господским стилем бытового поведения, осуждаемая трудовыми низами как праздный, паразитический слой, лишенный прежнего морального авторитета.

Антиинтеллигентские предубеждения трагическим образом разрушило время гитлеровской оккупации, когда деятели национальной культуры оказались главным объектом целенаправленного и массового истребления. Известно, что если в годы войны погиб каждый шестой поляк, то потери нации в «образованных людях» были еще более страшными — в этом слое был уничтожен каждый третий [5].

Время неволи вновь поставило интеллигенцию на высоту ее исторических задач: спасти от геноцида духовные ценности, обеспечить непрерывность культурной традиции, поддержать в соотечественниках национальное самосознание и волю к сопротивлению. Общие жизненные условия и единые задачи борьбы с оккупантами сближали интеллигенцию с народными массами, отучали от нерассуждающей веры в обанкротившийся режим санации и одновременно излечивали от собственного сословного высокомерия.

Естественно, такая радикальная переориентация сознания давалась очень болезненно. Беспощадностью моральных самооценок проникнуто было в публицистике и литературе военного и особенно послевоенного времени целое направление, названное спустя годы «литературой интеллигентских расчетов». Но расчеты с прошлым были только частью пути, который предстояло пройти интеллигенции в своем идейном и нравственном самоопределении.

Историческая инициатива со всей очевидностью переходила в руки того общественного класса, с которым польская интеллигенция была в массе своей слабо связана. Его идеологи однозначно формулировали возникшую перед ней дилемму: «От интеллигенции самой зависит, примет ли она активное участие в строительстве лучшего будущего страны или будет плестись в хвосте умирающего мира эксплуатации и насилия» [6]. В действительности дело обстояло гораздо сложнее. К исходу войны среди сторонников новой социально-исторической перспективы все больше становилось тех, кто не обязательно был убежденным коммунистом. А на противоположном полюсе оказывались не всегда оготелые реакционеры. Но и тот, кто занял выжидательную позицию, тоже выжидал по-разному: в надежде, что вернется старый порядок, или в надежде, что он станет более справедливым².

Физические и моральные потери польской интеллигенции в войне были настолько разрушительны, что давали основания скептически оценивать ее шансы на активную роль в национальном возрождении. По пер-

² В 1958—1959 гг. социологи обратились к группе интеллигенции, получившей образование в буржуазной Польше, с вопросом: «Как Вы определили бы отношение старой интеллигенции к социально-политическим преобразованиям после 1945 г.?» Ответы распределялись следующим образом: 24% респондентов оценили свое отношение как «позитивное», 28% — как «отрицательное», 48% — как «выжидательное» («индифферентное», «нейтральное»). Даже с поправкой на 15 истекших лет и обстоятельства личной жизни, повлиявшие на характер ответов, картина интеллигентских умонастроений в период становления народной власти в стране отражена здесь с высокой степенью достоверности [7, s. 141].]

вой послевоенной переписи 14 февраля 1946 г. в стране с 23,7 млн населения оставалось не более 100—130 тыс. лиц с высшим и средним специальным образованием. Я. Щепаньский писал, что годы войны «поглотили так много людей из этого слоя, что после 1945 г. он не мог уже восстановиться и занять прежнее место в общественной структуре безотносительно к типу будущего социального устройства» [1, с. 455]. Интеллектуальный потенциал нации пришлось практически создавать заново. В этой ситуации знающий специалист был действительно на вес золота. «Без участия интеллигенции,— говорилось в инструкции ЦК ППР от 17 марта 1945 г. о подборе и подготовке кадров для промышленности,— производство не может быть ни приведено в движение, ни должным образом организовано. Необходимо вести борьбу с утверждениями, будто рабочий класс может решить производственные задачи без специалистов. Необходимо, чтобы администраторы, инженеры и техники были поставлены в условия, позволяющие им отдать все силы развитию народного хозяйства» (цит. по [8, с. 35]).

Параллельно на руководящие посты в государственном и хозяйственном аппарате выдвигались представители рабочего класса, профессиональная некомпетентность которых, как предполагалось, могла быть восполнена политической зрелостью и опытом партийной работы. Уже в декабре 1945 г. к управлению производством были привлечены 2888, а к середине 1946 г. — более 5 тыс. рабочих [3, с. 191]. При остром дефиците образованных кадров это была вынужденная мера; недостающие знания выдвиженцы получали на краткосрочных курсах или через вечерне-заочное обучение. Еще одним источником пополнения интеллигенции служила подготовка специалистов через систему высшего и среднего образования.

Радикальные социально-экономические реформы, освоение территорий в новых государственных границах и восстановление разрушенной на две трети экономики вызвали огромную по масштабам социальную мобильность в послевоенной Польше. Процесс этот, по-началу стихийный, с окончанием восстановительного периода и принятием курса на форсированную индустриализацию входит в организованное русло. По отношению к интеллигенции это означало, во-первых, максимально возможное и предельно быстрое наращивание ее количественного потенциала, во-вторых, целенаправленное изменение ее социального состава и, в-третьих, радикальное перераспределение ее профессиональных приоритетов.

Рост численности работников умственного труда³, особенно в первые послевоенные годы, характеризуется непропорционально высоким темпом даже в сравнении с рабочим классом, в результате чего уже в 1950 г. в государственном секторе народного хозяйства эта категория составляла 10% (в 1931 г. — 4,1, по другим источникам — 5,5%), а в 1960 г. — 18,2% (по другим источникам — 18,9%) [8, с. 11; 9]. Подавляющую массу работников умственного труда поставляла быстро и широко налаживаемая система народного образования всех ступеней — высшего, среднего общего и специального, профессионально-технического. В 1958 г. в общественном производстве были заняты 708 100 специалистов с высшим и средним специальным образованием, из которых лишь 125 700 получили дипломы в довоенное время [10; 11]⁴. Особенно выразительны относительные данные: в 1937 г. на 10 тыс. человек населения приходилось 15,8 выпускников высшей и средней школы, в 1956 г. — 61,2 [13].

Такая стремительная массовизация профессионального образования, конечно, не могла не вести к снижению его качества и другим побочным эффектам. Здесь же важно зафиксировать главный итог этого про-

³ В категорию «работник умственного труда» польская статистика включает лиц, выполняющих все виды духовной деятельности в общественном производстве независимо от уровня и профиля образования.

⁴ В материалах отдела пропаганды ЦК Демократической партии говорится, что в 1958 г. «старая» интеллигенция составляла не более 25% всей совокупности работников умственного труда. Более точные данные приводит Р. Турский: в 1958 г. в народном хозяйстве было занято 20,4% лиц, получивших высшее образование в межвоенный период, причем в технических специальностях этот процент был еще ниже — 11,9 [12; 13, с. 19].

цесса: уже на рубеже 50—60-х годов, всего за 15 лет послевоенного развития, сформировался значительный социальный слой работников, обеспечивающих все виды духовной деятельности в общественном производстве и в подавляющем большинстве получивших профессиональное образование в новой Польше.

Социальный облик этого слоя также радикально отличался от предвоенного. Демократизация социальной базы умственного труда, стихийно зарождавшаяся еще в системе капиталистического производства, теперь сознательно направлялась властью через законодательство и специальные меры, которые имели целью обеспечить не только равный, но и реальный доступ рабочей и крестьянской молодежи в школы всех типов. Изменения в социальном составе студентов стимулировались организацией при вузах подготовительных курсов для детей из пролетарских слоев, зачислением выпускников курсов в вузы без вступительных экзаменов, более продолжительным сроком обучения в предвыпускных классах, полным стипендиальным обеспечением, первоочередным предоставлением мест в общежитиях и т. д. Такая политика быстро дала результаты, и если в 1947/48 учебном году в Варшавском университете, например, обучалось только 15,5% детей рабочих и крестьян (показатель даже ниже предвоенного: в 1934/35 учебном году — 17%), то уже в 1951/52 учебном году на первые курсы было зачислено 39,1% рабочей и 22,2% сельской молодежи. Вплоть до середины 50-х годов количество первокурсников рабочего и крестьянского происхождения поддерживалось на уровне не ниже соответственно 30 и 21%. К концу десятилетия контингент специалистов с высшим и средним образованием на 48,7% состоял из интеллигенции в первом поколении [3, с. 191; 6, с. 13].

Льготы, связанные с социальным статусом абитуриентов, были восприняты частью старой интеллигенции, особенно в среде профессуры, остро критически как «система привилегий, несовместимых с элементарными нормами этики». Отчасти здесь имела место, как отмечает В. Маркевич, «оборонная реакция слоя, привыкшего к особой, выдающейся позиции в народе и самовоспроизводству в этой роли, не предрасположенному к растворению собственной среды в „обыкновенном простонародье“» [14]. Но представляется, что реальными были опасения и иного плана, связанные с уровнем усваиваемых знаний «на выходе», а тем самым и с авторитетом высшего образования как такового. Критерий «классового отбора», не поддержанный максимально равноценными условиями обучения в городской и сельской школе, в столице и на периферии, не мог дать эффект на длительную перспективу и вырождался в средство политической спекуляции. Поэтому, когда социальные преференции были после 1956 г. упразднены, немедленно стал действовать «нормальный» механизм селекции: по уровню подготовки претендентов в предшествующих звеньях образования. Кроме того, более чем скромная оплата массовых интеллигентских профессий — учителя, врача, рядового инженера — постепенно вырабатывала в трудовых низах предубеждение, что получение высшего образования «не слишком себя окупает». Сцепление социально не преодоленных и новых психологических барьеров привело к снижению, особенно на рубеже 60—70-х годов, удельного веса рабоче-крестьянской молодежи в общей массе студенчества. Показательно, что «главным поставщиком кандидатов в состав очередного поколения интеллигенции» становились семьи выдвиженцев («людей с рабочими традициями»), как называет их польский исследователь Я. Яницкий).

Демократизация социальной базы интеллигенции с разной интенсивностью проходила в отдельных ее профессиональных группах. Из основных общественных классов формировались прежде всего те категории, которые обслуживали нужды народного хозяйства и административно-хозяйственное управление. Гуманитарные профессии воспроизводились преимущественно потомственной интеллигенцией.

Масштабные задачи восстановления и реконструкции экономики, социально-политического переустройства общества существенно изменили и усложнили внутреннюю структуру польской интеллигенции. Лиди-

рующее положение по численности, социальному значению и общественному престижу заняли специалисты технических профессий. В предельно сжатые сроки в стране было подготовлено 66,8 тыс. инженеров, что составило 34% от общего числа лиц с высшим образованием, и 148,7 тыс. техников (данные на 1957 г.). Сравним: за 10 лет межвоенной истории Польши, с 1928 по 1937 г., система высшего и среднего специального образования дала производству около 12 тыс. инженеров и 36 тыс. техников, т. е. соответственно в 5,5 и 4 раза меньше. В структуре труда высшей квалификации довоенная инженерия не превышала 14% [4, s. 328; 15]. Совершенно очевидно, что без столь внушительного интеллектуального обеспечения экономики задача, сформулированная в директивах шестилетнего плана (1949—1955), — превратить Польшу «в одну из наиболее индустриализированных стран Европы» — была бы невыполнима.

Вторую наиболее многочисленную группу интеллигенции составили работники управленческого аппарата. Формирование государственной администрации, налаживание руководства национализированной промышленностью, организация госхозов, введение единого централизованного планирования, развитие социальной и культурной инфраструктуры и т. д. потребовали создания многоотраслевого административно-управленческого слоя и поглотили огромную армию служащих самой разной квалификации, характера выполняемых функций, уровня образованности, объема и степени сложности затрачиваемого труда. По всем параметрам это наиболее гетерогенная категория работников умственного труда, для которой и на сегодняшний день не сложилось общепринятой номенклатуры специальностей (в связи с чем не удалось обнаружить и скольнибудь надежной статистики о доле этого контингента в структуре интеллигенции в рассматриваемый период).

Многочисленный рост сопровождал также те профессиональные группы, которые обеспечивали первоочередные социальные потребности общества: здравоохранение, обучение и воспитание. В 1946 г. к работе приступили 7 тыс. врачей и 97 тыс. учителей всех типов школ, в 1960 г. — соответственно 28 тыс. и 180 тыс. [16]; показатели эти были выше и довоенных. Более умеренными темпами рос состав гуманитарной интеллигенции (особенно художественной, немногочисленной количественно и преимущественно непролетарского происхождения), вследствие чего она перестала занимать прежнее доминирующее положение в структуре духовного производства⁵.

Усложнение профессиональной структуры интеллигенции не сопровождалось, однако, формированием адекватной ей образовательной структуры. Подготовку кадров необходимой квалификации чрезвычайно трудно было контролировать в условиях форсированного наращивания промышленного потенциала и неизбежной перекачки средств из так называемой непроизводственной сферы. Обозначившаяся тенденция сказывалась на развитии культуры в целом, и на образовании в частности, самым ощутимым образом: с 1950 г. эта статья бюджета (куда включались также социальное обеспечение, здравоохранение и физическая культура) уменьшилась с 7 до 3,5% в 1952 г. и только в 1959 г. превысила уровень 1950 г. на 0,1% [17]. В итоге в начале 60-х годов в сфере умственного труда должную квалификацию имели 46% работников, частично отвечали ей 20,6%, не соответствовали — 33,4% [13, s. 22].

Но сам по себе дефицит образованных людей еще не исчерпывал проблему. Несбалансированность развития составляющих общественную систему компонентов тормозила рациональное размещение и использование уже имеющихся специалистов. Серьезное отставание социальной инфраструктуры, прежде всего жилищного строительства, приводило к тому, например, что около 45% кадров высшей квалификации сосредоточивалось в крупных городах: Варшаве, Лодзи, Познани, Вроцлаве и Кракове. Село не получало и тех специалистов, которыми государство уже рас-

⁵ По переписи 1931 г., занятых художественным творчеством лиц с высшим образованием насчитывалось 6,1%, по переписи кадров высшей квалификации 1958 г. — 3% (включая журналистов) [4, s. 323; 8, с. 14].

полагало: из 8 тыс. агрономов в 1958 г. по назначению работали только 1356 [13, с. 21], школами с семьей и более преподавателями было охвачено лишь 21,7% сельских детей, тогда как в городе — 96,8% [18]. В некоторых отраслях экономики интеллигенции было даже больше, чем в иных развитых странах Запада, что отнюдь не означало ее перепроизводства. В том же 1958 г. на тысячу занятых вне сельского хозяйства специалистов приходилось инженеров: в США — 10, в Польше — 12,5 (правда, в СССР еще больше — 16,2) [19], и одновременно лишь треть директоров польских промышленных предприятий, руководителей цехов и участков, половина главных механиков, главных энергетиков и главных технологов, чуть больше половины главных инженеров имели высшую квалификацию [20].

Особенно серьезное по своим последствиям расхождение между образовательным и профессиональным статусом намечалось в средних звеньях государственно-административного, хозяйственного, культурного управления. Чиновничий аппарат, исполнительские функции которого поначалу не требовали длительной специальной подготовки, поглощал массы людей, покидавших в поисках заработка перенаселенные деревни, выходцев из деклассированной мелкобуржуазной среды, из семей так называемых крестьян-рабочих. Должность они получали как бы авансом, который со временем надлежало оплатить соответствующей квалификацией. Но здесь-то и включались разного рода социально-психологические механизмы торможения. «У нас сложилось убеждение, — замечает по этому поводу польский экономист Е. Кордашевский, — что канцеляристу (служащему, учрежденцу) квалификация не нужна» [21].

Такая установка чиновного сознания питалась несколькими источниками. Польские исследователи справедливо указывают на отсутствие в национальной истории длительной и прочной буржуазной традиции с ее прагматическим культом (работать тщательно, точно, рационально)⁶. «Единственный образец многовековой профессиональной культуры, каким обладала Польша, — писал Ю. Халасиньский, — было крестьянское земледелие» [22, с. 186]. Другой сдерживающий фактор — специфические условия личностной социализации. В первые послевоенные годы в условиях острой конфронтации политических сил в стране демонстрация идеологической благонадежности либо, по крайней мере, лояльности к новой власти были нередко более твердым гарантом в служебной карьере, чем профессиональная пригодность. Многими представителями социальных низов лозунг «кто был ничем, тот станет всем» был воспринят как немедленное право на все социальные (в том числе и профессионально-должностные) привилегии без обязательного личного им соответствия.

Своеобразную переключку унаследованных стереотипов мышления с возникавшими на новой социальной почве уловил известный критик и публицист А. Василевский: «Давно меня преследует мысль, — писал он в мае 1957 г., — об особенной и взаимной зависимости некоторых атавистических черт нашего общества и некоторых структурных особенностей господствовавшей до недавнего (т. е. до кризисных событий 1956 г. — И. П.) системы. Эта структура, потребовавшая огромного слоя капелланов от идеологии, резонерства и философской болтовни и награждавшая в обмен на политическую „оперативность“ любую некомпетентность, укрепляла нашу цивилизационную отсталость, нашу буйную постшляхетскую „гуманистичность“, нашу романтическую недооценку точных дисциплин, опирающихся на научную экспертизу. И это общество, со своими взлелеянными ценностями и мифами, продолжает оставаться таким, каким было на протяжении всей своей истории: народом, слабо обеспеченным современными методами труда, с ненормально развитым аппаратом, с повсеместным недостатком профессиональной квалификации, замещаемой полетом импровизации „идеологов“, вдохновенных дилетантов, неутомимых апостолов абсолюта...» [23].

⁶ Парадокс заключается в том, что прагматология как наука об эффективной работе возникла именно в Польше. Основатель ее — великий философ и логик Тадеуш Катарбиньский (1886—1984).

Еще один источник рутинного чиновничьего сознания скрыт в природе самой административной функции. Носители ее достаточно быстро (особенно этому благоприятствовала ситуация коренной перестройки всех сфер общественной жизни на новых, часто интуитивно находимых, еще не стабильных, нерегламентированных организационных принципах) свои, по сути исполнительские, подчиненные, «обслуживающие» обязанности начинали трактовать как директивные. А это давало, с одной стороны, ощущение собственной социальной значимости, с другой — вызывало неприязнь к любым инновациям, способным разрушить уже сцементированные конструкции управления. Не случайно предпринятая государством попытка уже в 1954 г. сократить чрезвычайно обременявший производственную сферу бюрократический аппарат наталкивалась на сильное сопротивление последнего: с 1954 по 1956 гг. его долю в структуре занятого населения удалось понизить всего на 0,4% [24]. Реорганизация административных органов больше сводилась к перемещению работников из отрасли в отрасль, из учреждения в учреждение, поскольку не сопровождалась, как это имело место в развитых капиталистических странах, замещением высвобождаемых рабочих мест современной техникой и технологией (а заодно и не стимулировала избежавших сокращения к повышению квалификации).

Остро стоял вопрос об образовательной подготовке одной из самых массовых и ключевых для общества «интеллигентских» профессий — школьного учителя. Завоевания в сфере всеобщего образования бесспорны. Многократный рост учительских кадров позволил не только в считанные годы ликвидировать унаследованную от буржуазной Польши неграмотность значительной части населения, но и вооружить народ знаниями, достаточными для прорыва национальной экономики на качественно новый уровень. Но и здесь темпы количественного роста преподавателей опережали повышение их квалификации.

На качественной стороне дела негативно сказывались прежде всего именно масштабы и разнохарактерность подготовки учителей в самые первые послевоенные годы. Большая их часть до начала 50-х годов спешно проходила обучение на шестинедельных и трехмесячных курсах, годовых курсах после основной восьмилетней школы, в системе заочного обучения при педагогических лицеях, вузах и университетах. С 1954 г. действовали семь высших учительских курсов, увеличился срок заочного обучения с трех до четырех лет при педагогических институтах, а с 1957 г. — до пяти лет очное обучение в лицеях и вузах педагогического профиля. Множественность каналов специального образования обуславливала неравный объем и неравноценный уровень получаемых (следовательно и передаваемых) знаний. В середине 60-х годов, когда завершался переход к обязательному всеобщему обучению в объеме неполной средней школы, лишь 17% преподавателей этого звена имели высшее педагогическое образование [25].

Возможности самообразования в учительской среде оказались чрезвычайно стеснены, так как преподаватели по самому своему просветительскому назначению были задействованы в многообразных формах социальной активности, особенно на селе. Кроме того, многие вынуждены были искать дополнительный заработок, ибо оплата учительского труда даже по тем временам являлась неоправданно низкой.

Трудное материальное положение польского учительства объяснялось не только массовизацией профессии и снижением реальных доходов. В условиях приоритетного развития определенных отраслей экономики в первой половине 50-х годов в социальной политике государства, как отмечают польские исследователи, утверждалось вознаграждение не «каждому по труду», а «каждому в соответствии с нормами, установленными с точки зрения общественной пользы в определенной ситуации». Изображений текущей экономической (и политической) целесообразности нередко игнорировался даже столь объективный, «общественно полезный» критерий, как производительность труда. При таком подходе работа школьного учителя, «общественную полезность» которой тем более нель-

зя было измерить немедленным экономическим эффектом, становилась поистине уделом подвижников.

Еще со времен Комиссии национальной эдукции (1773), авторы которой провозгласили эталоном культуры отношение общества к Учителю, в народе поддерживался традиционно высокий авторитет интеллигент-просветителя. В годы фашистской оккупации нация гордилась соотечественниками-учителями, на чьи плечи легла огромная, связанная с риском для жизни работа по организации в стране тайного обучения. Идеал патриота-просветителя и в первые послевоенные годы питал массовый энтузиазм молодых людей, отправлявшихся трудиться на ниве народного образования в глухую провинцию. Действительно тем временем вошла в сложившиеся ценностные ориентации отрезвляющие коррективы⁷. И если старшее поколение еще удерживало в памяти общественный престиж педагога и желало этой карьеры для своих детей (в одном из опросов жителей Варшавы в 1958 г. учитель занял третье место в иерархии профессий, хотя уже двадцать второе по критерию материальной выгоды) [26], то дети, чей жизненный опыт был совсем иным, традиционного пиетета уже не наследовали: 17,4% лицеальной молодежи отнесли профессию педагога к категории «худших» и почти никто не оценил ее по «высшему» разряду [27, с. 46]. Разумеется, не одни только прагматические соображения имеют значение при выборе жизненного пути, но, с другой стороны, как справедливо и не без иронии комментирует эти факты В. Беньковский, «ведь действительно трудно убедить молодежь, что платят меньше тем, в ком государство больше нуждается» [27, с. 42].

После 1958 г., в результате государственной реформы заработной платы низкооплачиваемым категориям трудящихся, материальное положение некоторой части интеллигенции улучшилось. Психологический же барьер предубеждений ломать было сложнее.

Общеизвестно, что любая социальная революция есть не только время сдвига в политической и экономической структуре социума, но и смены его нравственного идеала. Общеизвестно и выработанное классиками марксизма определение нравственного идеала коммунизма: «свободная индивидуальность, основанная на универсальном развитии индивидов и на превращении их коллективной, общественной производительности в их общественное достояние» [28, т. 46, т. 1, с. 101], причем марксизм настаивал: именно и прежде «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» [28, т. 4, с. 447]. Не менее известно, что в практике «социалистического строительства» (и не одной только Польши) воспитание новой личности пошло по иному пути: именно и прежде всего коллективное развитие стало мыслиться как наиболее эффективное, а потом и единственно возможное условие индивидуального развития. Такой тип нравственной ориентации учил человека «рассматривать себя в исторической перспективе, а свою ценность измерять вкладом в осуществление какой-нибудь общей великой цели» [29].

В самые первые послевоенные годы чувство сопричастности к общему делу в каждом поляке естественно поддерживалось патриотической задачей поднять из руин истерзанную оккупантами страну, а затем дружно взяться за коренное переустройство общества на началах социальной

⁷ Ю. Халаси́нский приводит обширный фрагмент дневника 30-летнего сельского учителя (род. в 1927), сына рабочего, представителя первого поколения послевоенной польской интеллигенции. Работать начал в 1949 г. в деревне под Лодзью. Педагогический лицей закончил экстерном, уже преподавая в школе. Возглавлял местную ячейку Союза польской молодежи и был заместителем секретаря первичной парт-организации ПОРП. «Однако самым верным его товарищем, сопровождавшим всю его жизнь в те годы, — пишет Ю. Халаси́нский, — было чувство изоляции. Молодой светский пастырь болезненно ощутил свое одиночество и убогость, когда однажды вместе с другими (поскольку не отважился бы самостоятельно в период идеологической бдительности на визит к духовному лицу) оказался в доме знакомого vicarior. „Жил он прекрасно, — записывает молодой учитель в своем дневнике. — Именно так, как должен был в моих мечтах жить учитель... Когда я вернулся домой и огляделся по углам, на свою „мебель“, то захотелось плакать... Стало обидно, что выучился не на ксендза, а на учителя, о котором никто не заботится, зато от которого постоянно что-то требуют и которому платят гроши“» [22, с. 24—25].

справедливости. В качестве морального авторитета, на который следовало равняться, выдвигалась личность революционера-коллективиста, ударника труда, общественного активиста, сознательно жертвующего частными интересами для общего блага. В атмосфере массового энтузиазма, радости обретенной свободы и жажды созидания личная мотивация деятельности вполне органично согласовывалась, совпадала с внеличностной установкой на «дело, которому служишь»⁸.

Однако даже самое передовое сознание не способно бесконечно долго руководствоваться лишь «вне себя» положенными целями, сознание интеллигенции, особенно чувствительной к содержанию своей внутренней жизни,— тем более.

Резкий поворот от демократии к авторитарным формам правления в стране, наступивший после 1948 г., со всей очевидностью показал, что ограничение «свободного развития каждого» во имя идеального будущего носит отнюдь не временный характер и движется в сторону еще более жесткой идеологизации и регламентации. Процессы эти не могли не оказывать деформирующего воздействия на нравственную сферу сознания, разумеется, не сразу, не автоматически и неоднозначно в разных группах интеллигенции. Вспомним: массовый ее представитель принадлежал к поколению «социального аванса» (термин польских социологов), которому новая власть дала огромные возможности для выдвижения в слои образованных людей. Но политика тотальной идеологизации их личностного развития грозила не только сделать их «недообразованными», о чем предупреждал А. Василевский, но и не свободно, не самостоятельно мыслящими.

Одновременно теряли нравственный смысл и коллективистские нормы общежития, поскольку ожидаемое «на завтра» создание мира всеобщего благоденствия и справедливости отодвигалось непроницаемо далеко. Но такая этическая установка продолжала поддерживаться официальной пропагандой, всей системой воспитания в обществе, а потому и на уровне личности она все чаще заявлялась вербально и все реже выражала внутреннее убеждение. И если первая генерация «новой» польской интеллигенции в массе своей еще не знала раздвоенности мотивов и поступков частной и публичной жизни или, по крайней мере, не ощущала эту раздвоенность как аморальную, то следом плло поколение, уже лишенное душевной гармонии своих отцов.

Но это конфликт совсем иного сознания, которое формировалось в условиях бурных идейно-политических дискуссий и обновления общественной жизни середины 50-х годов. На историческую сцену выходил второй эшелон интеллигенции, названной в польской литературе и публицистике тех лет «поколением гневных».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Szczerpański J.* Wykształcenie a pozycja społeczna inteligencji. Т. 2. Łódź, 1960.
2. *Polska inteligencja współczesna. Z problematyki samowiedzy.* Warszawa, 1980.
3. *Яницкий Я.* Рабочий класс и интеллигенция Народной Польши.— В кн.: Руководящая роль рабочего класса в социалистических странах. М., 1978.
4. *Żarnowski J.* Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918—1939. Warszawa, 1964.
5. *Fijałkowska B.* Polityka i twórca (1948—1959). Warszawa, 1985, s. 12—13.
6. *Polska Partia Robotnicza. Dokumenty programowe (1942—1948).* Warszawa, 1984, s. 72.
7. *Borucki A.* Kariery zawodowe i postawy społeczne inteligencji w PRL. 1945—1959. Wrocław, 1967.
8. *Бухарин Н. И.* Интеллигенция Польской Народной Республики. М., 1976.
9. *Загурский К.* Изменения социальной структуры и социальная мобильность в Польше.— В кн.: Проблемы развития социальной структуры общества в Советском Союзе и Польше. М., 1976, с. 214.
10. *Szczerpański J.* Struktura inteligencji w Polsce.— *Kultura i Społeczeństwo*, 1960, № 1/2, s. 37—42.

⁸ Советский историк В. А. Козлов очень точно характеризует «человека революционной эпохи» как тип «опережающего личностного развития», который «строит себя как бы в расчете на будущую идеальную действительность» [30].

11. *Charkiewicz M.* Kadry wykwalifikowane w Polsce. Warszawa, 1961, s. 35—36.
12. Materiały dyskusyjne dotyczące roli i pozycji społecznej inteligencji polskiej. Oprac. KC SD. Warszawa, 1960, s. 47—48.
13. *Turski R.* Procesy profesjonalizacji pracy na tle industrializacji w Polsce Ludowej.— *Studia Socjologiczne*, 1964, № 2.
14. *Маркевич В.* Эволюция социально-профессиональной позиции интеллигенции в Народной Польше.— В кн.: Проблемы развития социальной структуры общества в Советском Союзе и Польше. М., 1976, с. 160.
15. *Golański H.* Czy nadprodukcja inteligencji? — *Nowe Drogi*, 1957, № 9, s. 41.
16. *Rocznik Statystyczny*, 1974. Warszawa, 1975, s. 559, 527.
17. *Gładysz A.* Oświata — kultura — nauka w latach 1947—1959. Warszawa; Kraków, 1981, s. 10—11.
18. *Kozakiewicz M.* Po pierwsze — nie mamy armat.— *Polityka*, 1961, № 3, s. 11.
19. *Matejko A.* Wzrost liczby pracowników umysłowych.— *Studia Socjologiczne*, 1962, № 3, s. 228.
20. *Studia Socjologiczne*, 1961, № 2, s. 328.
21. *Kordaszewski J.* Polityka zatrudnienia i płac w przemyśle.— In: Zagadnienia polityki przemysłowej. Łódź, 1960, s. 329.
22. *Chatański J.* Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej. Warszawa, 1958.
23. *Wasilewski A.* Bigos polski czyli o nowoczesności rzeczywistej i «na niby».— *Nowa kultura*, 1957, № 18, s. 2.
24. *Nowe Drogi*, 1957, № 3, s. 111—112.
25. *Wojciechowski K.* Nauczyciel polski z perspektywy dwudziestolecia PRL.— *Wies Współczesna*, 1964, № 6, s. 101.
26. *Wesołowski W., Sarapata A.* Hierarchie zawodów i stanowisk.— *Studia Socjologiczne*, 1961, № 2, s. 97, 101.
27. *Wleńkowski W.* Nieporozumienie pokoleń (o kształtowaniu się postaw ideowych młodzieży).— *Kultura i Społeczeństwo*, 1961, № 4.
28. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд.
29. *Оссовская М.* Рыцарь и буржуа. М., 1987, с. 506.
30. *Козлов В. А.* Человек революционной эпохи (к методологии исторического исследования).— В кн.: Советская культура. История и современность. М., 1983, с. 195.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

- Бондарь С. В.* Философско-мировоззренческое содержание «Изборников» 1073—1076 годов. Киев, 1990, 151 с.
- Бранислав Нушич:* Библиогр. указ. / Сост.: А. Маслеша-Тошич, Кудрявцева В. Ю. М., 1990, 399 с., 4 л. ил.
- Бузуева Т. Е.* К вопросу о градационных союзах в сербохорватском / хорватосербском языке. Л., 1990, 22 с.
- Вакарелски Х.* Български погребални обичаи: Сравнително изучаване. София, 1990, 224 с., 8 л. ил.
- Венедиктов Г.* Българистични студии. София, 1990, 242 с. Георгиев Л. Поетът с ватенката: Книга за Пеню Пенев. София, 1990, 663 с., 12 л. ил.
- Голионцева В. Н.* Сорбские сказания и национальная история. Пятигорск, 1990, 8 с.
- Добрев Д.* Поетика на Йовковия разказ: Литературознание. София, 1989, 133 с.
- Дыбо В. А., Замятина Г. Т., Николаев С. Л.* Основы славянской акцентологии. М., 1990, 284 с., ил.
- Инов И. В.* Судьба и музы Витезслава Незвала: По страницам воспоминаний, дневников, писем, рукописей... М., 1990, 224 с.
- Исследования в области балто-славянской духовной культуры: Погреб. обряд.* М., 1990, 255 с., ил.
- Исследования по истории литовской метрики.* М., 1990.
- Я. А. Коменский (1592—1670):* Указ. лит. / Сост.: Владислава Т. В., Глазкова М. А. М., 1990, 72 с.
- Кузнецова Е. А.* Интонационные конструкции в русском и венгерском языках. М., 1989, 7 с.
- Лаптева Л. П.* Гусистское движение в Чехии XV века: Уч.-метод. пособие для студентов ист. фак. гос. ун-тов. М., 1990, 95 с., ил., карт.
- Минкова С., Трифионов Т.* Народ — психологически щрихи на българина. София, 1990, 353 с.
- Наленч Д., Наленч Т.* Юзеф Пилсудский: Легенды и факты. Пер. с пол. М., 1990, 399 с., ил.
- Ненчева Р.* Стефан Данаилов. София, 1990, 152 с., ил.
- Общественное сознание, книжность, литература периода феодализма / Отв. ред. Лихачев Д. С. Списание печат. тр. Н. Н. Покровского за 1955—1989 гг. Лит. о Н. Н. Покровском. Новосибирск, 1990, 398 с., 5 л. ил.



ЧЕШСКАЯ, ПОЛЬСКАЯ И СЛОВАЦКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В АВСТРО-ВЕНГРИИ

(Сравнительный анализ)

Кто принадлежит к интеллигенции? Чем отличаются мужчины (а в XX в. и женщины), положение которых в обществе основывается прежде всего на их образовании, от представителей остальных социальных слоев? Во времена средневековья монахи и князья, преподаватели университета, бакалавры и студенты отличались от остальных общественных слоев лишь своей одеждой. В XX в. только католические священники сохранили в этом отношении определенное отличие, уже мало заметное ныне у протестантских. Остаются еще мантии у судей и профессоров, однако они используются лишь в такие моменты, когда необходимо подчеркнуть исключительную миссию их носителей: во время судебного процесса или при вручении диплома, но ни в коем случае не для демонстрации их отличия в повседневной жизни. В повседневной жизни образованные люди своей внешностью не отличаются от остальных граждан, находящихся на таком же социальном уровне.

Впрочем эту тенденцию светской интеллигенции идентифицировать себя — через свою внешность — с остальным городским населением мы можем отметить уже в период, когда одежда характеризовала отдельные сословия и группы в них. На картинах, изображающих коронацию Марии Терезии в Праге, с первого взгляда можно распознать дворян и духовенство, цеховых ремесленников и крестьян по форменной одежде или ризам, рабочим, праздничным, региональным костюмам, представители именно двух светских факультетов — доктора права и медицины — отличались тем, что были в гражданской одежде, сшитой в соответствии с модой того времени.

Тем не менее, у образованных людей и конца XVIII в. было живо сознание своей сословной принадлежности.

Хотя первая перепись населения в Габсбургской империи и имела множество недостатков, все же она предоставила данные о численности профессиональных и сословных групп. С 1781 г. взрослые мужчины приводились в статистических таблицах в соответствии со своей сословной и профессиональной принадлежностью. Среди них четко выделены три категории, общественное положение которых определялось тем, что они занимались умственным трудом, получив необходимые для этого квалификации благодаря предварительному образованию. Это — духовенство, чиновники и представители свободных профессий. Последние вместе с чиновниками составляли общую категорию в статистике того времени. К разряду духовенства относились и священнослужители дворянского происхождения, однако раздел «чиновники и лица свободных профессий» включал

Мужское население Чешских земель в 1781—1851 гг. по сословной принадлежности (профессии) [2]

Год	Взрослые мужчины по сословной принадлежности (профессии)					Все мужчины от 18 л. и старше	Мужское население целиком
	духовенство	дворяне	чиновники и лица свободных профессий	мещане, ремесленники	крестьяне		
1781	10 255	2401	5 697	125 758	211 135	1 257 581	1 935 112
1785	9 655	2455	5 386	121 975	208 890	1 297 910	2 015 824
1790	8 568	2502	6 008	118 627	213 703	1 303 276	2 108 368
1795	7 514	2483	5 983	116 606	211 590	1 297 016	2 157 666
1800	6 715	2484	6 294	121 157	213 123	1 254 406	2 176 591
1805	6 466	3026	8 652	104 024	189 194	1 304 413	2 404 159
1810	6 374	2929	10 032	111 268	216 232	1 200 755	2 238 968
1815	6 327	2959	14 251	104 482	222 850	1 200 299	2 209 638
1820	6 275	3124	14 902	96 857	217 469	1 391 149	2 429 497
1825	6 293	3327	14 992	95 077	215 375	1 492 812	2 620 376
1831	6 466	3392	13 040	57 580	206 600	1 593 176	2 844 191
1837	6 643	3394	13 913	58 476	205 209	1 645 458	2 907 013
1843	6 730	3429	14 781	56 208	205 440	1 819 149	3 101 933
1846	6 780	3375	15 166	51 192	204 419	1 905 309	3 203 587
1850—1851	6 706	3313	15 332	52 379	200 934	1 810 837	3 156 049

только мужчин, происходивших из образованных, мещанских и крестьянских семей.

Четкую характеристику лиц свободных профессий мы находим уже в конце того периода, который отражен в таблице № 1. В 1849 г. они получили избирательное право в городах и селениях, где к избирателям были отнесены государственные чиновники, а также «управляющие церковными имениями, офицеры в отставке, врачи, профессора и учителя» [1, S. 282]. С конца XIX в. составной частью этой группы населения считалась также техническая интеллигенция с высшим образованием. Лица свободных профессий, как и государственные чиновники, обычно осуществляли свое избирательное право во второй курии из трех, созданных по принципу: третья часть в прямых налогах населенного пункта — треть мест в его представительстве.

Относительно Чешских земель в период 1781—1851 гг. мы располагаем данными о сословном и профессиональном составе мужского населения. Впервые они были опубликованы Ф. Дворжачеком в его тщательно проработанном труде о переписи населения. В настоящее время в нашем распоряжении есть и официальная ретроспективная публикация Федерального статистического института.

Таблица содержит данные за семь десятилетий, в течение которых произошли изменения в общей численности группы и ее классификации. Первоначально учитывались только христиане, а с 1805 г. в группу были включены мужчины еврейского происхождения (в 1800 г. в Чешских землях жило 37 011 мужчин еврейской национальности [3, tab. 11, s. 8—11; tab. 13, s. 22—25], составлявших таким образом 1,67% всего мужского населения). Для тех трех категорий, которые включали интеллигенцию, это изменение имело лишь небольшое значение, так как в 1762 г., за который мы имеем соответствующие данные, в категории духовенства представлены только 4 еврея, а среди чиновников — 40 [3, tab. 2, s. 2].

В 1831 г. определение категории «мещане, ремесленники, мастера» изменилось на «ремесленники и мастера», и количество мужчин, включенных в эту категорию, упало на 40%. Однако это изменение никак не касалось проблематики образованного слоя. По этому слою таблица дает относительно длинный ряд сопоставимых численных показателей. Кроме того мы можем сравнить их с данными на 1762 г., когда в Чешских землях было зафиксировано 9234 священника (из них 3550 были черного духовенства и 5684 белого духовенства), 2408 дворян, 6521 чи-

новник, причем мужское население христианского вероисповедания составляло в целом приблизительно 1 424 311 [3, tab. 2, s. 2, tab. 3, s. 4]. Для анализа приведенных данных целесообразно выразить результаты предварительных статистических исследований в относительных показателях (в процентах) (табл. 2).

Таблица 2

Доля духовенства, дворянства, чиновников и лиц свободных профессий среди мужского населения Чешских земель в возрасте старше 18 лет (в %)

Год	Духовенство	Дворянство	Чиновники и лица свободных профессий
1781	0,82	0,19	0,45
1790	0,66	0,19	0,45
1800	0,54	0,20	0,50
1810	0,53	0,24	0,84
1820	0,45	0,22	1,07
1831	0,40	0,21	0,82
1843	0,37	0,19	0,81
1850—1851	0,37	0,18	0,85

Если предположить, что доля взрослого населения в общей массе мужского населения в 1762 г. была той же, что и спустя 19 лет, то для 1762 г. мы можем сделать следующие выводы о доле групп образованных людей в этом общем количестве: духовенство — 1,00%, дворяне — 0,26, чиновники — 0,70, из них же примерно 80,6% принадлежали к подгруппе «городских и государственных служащих».

Мы обнаруживаем, что доля духовенства среди взрослого населения с 1762 по 1851 г. упала почти на $\frac{1}{3}$ по сравнению с исходными данными. За первые 30 лет — в период йозефинских реформ, закрытия монастырей, упадка богатства и влияния церкви — это означало падение на 34 единицы. Доля духовенства среди мужского населения падала и в последующие десятилетия, но уже медленнее: за 60 лет на 29 единиц. Доля дворян среди мужского населения после небольшого роста около 1810 г. наконец стабилизировалась приблизительно на уровне показателей, соответствующих 1781 г. и несколько меньших, чем в 1762 г. По сравнению с Польшей и Венгрией доля дворянства среди всего населения была существенно меньше. Относительно чиновников и лиц свободных профессий можно заметить рост их доли в составе населения, что заметно контрастирует с падающей долей духовенства.

Процесс лаицизации интеллигенции в Чехии можно проследить и в случаях сравнения количества студентов богословского и обоих светских факультетов университета. Еще в 1784 г. в Пражском университете числилось наряду с 584 студентами богословского факультета, 174 юриста и 73 медика, т. е. соотношение было 1 : 0,4. В 1789 г. было 164 студента богословского факультета, 179 юристов и 58 медиков, т. е. соотношение стало 1 : 1,45. Этот процесс продолжался и в 1850/51 учебном году, когда было уже 186 теологов, 765 юристов и 328 медиков [4, s. 100—101], таким образом, соотношение совершенно изменилось, став 1 : 6. Данные пропорции в Чешских землях сопоставимы с соответствующими пропорциями в Венгрии. Здесь также проводились статистические исследования, хотя их методика и особенно классификация по сословной и профессиональной принадлежности отличались. Доля чиновников и лиц свободных профессий в общем количестве взрослого мужского населения в 1843 г. здесь составляла 0,5% [1, S. 319], т. е. была ниже, чем их доля в Чешских землях (0,8%). По сравнению с 1787 г. их количество возросло в пять раз, в Чешских же землях по сравнению с 1785 г. — менее, чем втрое. Это различие в какой-то степени вызывалось тем, что города, торговля и мануфактурное производство в Чешских землях были более развитыми, в аппарате же управления Венгрии доля дворянства была в 20 раз выше и в 1846 г. составляла 5%.

Недворянская бюрократия в западных землях империи, особенно в Вене и Чешских землях, была носителем просветительских традиций йозефинизма. Она признавала значение образования и играла значительную роль в культурной жизни, как показали работы В. Хайндл. Густая сеть начальных школ и обязательное всеобщее обучение способствовали тому, что уже в течение первых десятилетий XIX в. преобладающее большинство населения умело читать и писать, а постепенно, на основе этого умения, распространялась привычка к чтению, появлялась потребность читать в свободное время. У активных членов городского или сельского общества неграмотность была уже лишь исключением.

Например, история мальчика со словенских Альп, до десяти лет пасшего овец и не посещавшего школы, а затем получившего образование в монастырской среде, изучившего медицину и ставшего профессором Пражского университета, рассказывалась почти как сказка, хотя судьба Й. М. Жагара (Загара, Сагара) [5] не только в тот период, но и гораздо позже не была исключением в стране, где не было системы всеобщего образования.

В Центральной Европе интеллигенция сыграла совершенно исключительную роль в формировании наций нового времени. Это вытекает уже из известных работ Гроха, посвященных социальному анализу деятелей национального движения малых народов. Ряд других исследований, основанных на аналогичной методике, стал основой сравнительного изучения состава и роли интеллигенции в жизни народов монархии. Я. Гучко осветил социальный состав и социальное происхождение словацкой интеллигенции конца XVIII в. и первой половины XIX в. [6]. Автор данной статьи сделал попытку выяснить место интеллигенции в чешском обществе XIX в. в двух небольших исследованиях [7, s. 108—122; 8, s. 39—53]. Работу Гучко дополняет, благодаря контрастному отражению ситуации во второй половине XIX в. и на рубеже XX в., книга О. Джонсона [9], где разносторонне освещен экономически и политически обусловленный упадок словацкой интеллигенции. Положение, существовавшее незадолго до начала первой мировой войны, ярко иллюстрируется результатами переписи населения 1910 г., которые до сих пор остаются неизученными (см. ниже табл. 7).

Я. Гучко проанализировал наличные данные национальной интеллигенции, деятельность которой приходилась на 1790—1848 г. В его списке 2009 образованных словаков. 892 из них занимались литературной деятельностью на словацком или чешском языках, или как-то иначе проявили себя в творчестве как словаки, а 1117 из них были активными членами национальных организаций. 22,3% из них были дворянского происхождения. Сведения о социальной, а точнее, о профессиональной структуре двухтысячной группы образованных словаков содержатся в таблице 3.

Словацкая интеллигенция первых двух-трех поколений нации нового времени в большинстве своем состояла из духовенства обеих конфессий, к которым принадлежали словаки. Высокая доля священников среди авторов печатавшихся книг обусловлена также и тем, что в литературе, издававшейся на языках малых народов на ранних этапах национального возрождения, значительное место занимала проповедническая литература. Почти столь же высока была и их доля среди организаторов словацкой национальной жизни. Духовенство дворянского происхождения составляло $\frac{1}{5}$ среди католических священников, активно занимающихся национальной деятельностью, и $\frac{1}{6}$ — среди евангелических. Количество национально активных священнослужителей евангелического вероисповедания было на $\frac{1}{10}$ выше, чем среди католического духовенства (табл. 4), при этом необходимо учитывать, что доля лиц евангелического вероисповедания среди словаков в то время составляла приблизительно 15%. Существенно меньшей была доля учителей и профессоров, чиновников и представителей свободных профессий, причем необходимо учесть, что последняя группа была еще слабо представлена среди населения. Среди национального чиновничества было 35% дворян, а среди лиц свободных

Социальная структура словацкой интеллигенции, действовавшей в 1780—1848 гг.
(данные в абсолютных числах) [6, с. 43—44]

Род занятий	Литературная и художественная деятельность			Организационная деятельность			Все образованные лица		
	двор.	не-двор.	всего	двор.	не-двор.	всего	двор.	не-двор.	всего
Католические священники	57	185	242	55	235	290	112	420	532
Протестантские священники	56	216	272	51	270	321	107	486	593
Учителя и профессора	41	138	179	16	197	213	57	335	392
Лица свободных профессий	34	74	108	23	30	53	57	104	161
Чиновники	35	39	74	63	97	160	98	136	234
Остальные	3	14	17	13	67	80	16	81	97
Все служащие	226	666	892	221	896	1117	447	1562	2009

профессий их было даже 42%. Эти цифры показывают, что ориентация на вовлечение дворянства в словацкое национальное движение в домартовский период была обоснована. По сравнению с социальной структурой профилирующих слоев чешского возрожденческого движения удивляет очень незначительная, составляющая лишь 1%, доля группы «остальных», куда включались помещики, крестьяне, торговцы, ремесленники, мельники, в организационном обеспечении национальной жизни.

Гучко изучил также социальный состав родителей данной группы 2009 образованных и национально активных словаков в домартовской период (табл. 5). Несколько меньшей, чем можно было бы ожидать, была доля детей из семей лютеранского духовенства, которая не достигала и $\frac{1}{2}$ от доли пасторов среди национально активных образованных людей. Это особенно удивительно, если учесть, как велика была доля сыновей пасторов среди литературных деятелей не только у прибалтийских и скандинавских народов, но и у немцев. Наконец, следует обратить внимание на значительное, достигающее почти 30%, участие сыновей из семей горожан, которые в словацком этносе составляли еще очень небольшую роль. Очевидно, это, как и у чехов, было обусловлено тем, что при одинаковой обеспеченности чаще посылались на учебу сыновья из городских, чем из сельских семей.

Относительно чешской интеллигенции мы располагаем данными об активной части чешского общества, относящимися к концу периода, освещаемого статистикой Гучко. К. Гавличек сохранил список живших вне Праги подписчиков газеты «*Národní noviny*» последнего периода ее издания — осени 1849 г. Из 2100 экземпляров газеты в Праге продавалось около 400. В то время в Праге — и только там — с газетой «*Národní noviny*» успешно конкурировал радикальный «*Pražský večerní list*», продававшийся разносчиками газет прямо на улицах. В напряженные недели 1848 г. его тираж достигал 5000 экз. При сравнении с тем, что в Праге в драматические революционные годы 1848—1849 г. продавалось 400 экземпляров газеты «*Národní noviny*», особенно выделяется тот факт, что в 1857 г. единственная издававшаяся здесь независимая газета «*Bohemia*» имела 2134 подписчика.

У газеты «*Národní noviny*» Гавличека в конце 1849 г. в Чехии было 1303 подписчика. Эта группа чешских интеллигентов была для своего времени достаточно представительной. Дополняют это число те 400 пражан, которые газету покупали. Мы не учитываем подписчиков вне Чехии — их было 124 в Моравии и примерно столько же в остальных землях монархии, — ибо в этих землях газета не занимала такого центрального места, как в Чехии. Данные о профессии имеются только у 640 человек,

Доля различных профессиональных групп в общем количестве образованных словаков в 1780—1848 гг. (в %)

Род занятий	Литературная и художественная деятельность	Организационная деятельность	Все образованные лица
Католические священники	27,1	26,0	26,5
Протестантские священники	30,5	28,7	29,5
Учителя и профессора	20,1	19,1	19,5
Свободные профессии	12,1	4,7	8,9
Чиновники	8,3	14,3	11,7
Остальные	1,9	7,2	4,8
Все служащие	100,0	100,0	100,0

Таблица 5

Доля различных профессиональных групп среди родителей образованных словаков в 1780—1848 гг. (в %) [6, с. 48—50].

Род занятий родителей	Образованные, занимающиеся литературной и художественной деятельностью	Занятые организационной деятельностью	Все образованные
Протестантские священники	13,5	15,7	14,7
Учителя и профессора	8,1	11,3	9,9
Свободные профессии	1,5	1,6	1,6
Чиновники	2,1	4,5	3,4
Горожане (ремесленники, торговцы)	26,7	30,8	29,0
Крестьяне (феодално-зависимые)	26,5	22,0	24,0
Дворяне-помещики	20,2	13,0	16,2
Остальные	1,4	1,1	1,2
Все роды занятий	100,0	100,0	100,0

т. е. у 49% подписчиков. Среди них 244 католических священника, 65 крестьян, 57 торговцев, 56 учителей, 56 чиновников, 50 сельских старост, 46 мельников, 28 пивоваров, 22 врача, 16 дворян [7, с. 112—113]. Эти цифры свидетельствуют о незначительном представительстве дворянства среди образованных и активных слоев чешской нации — лишь 2,5% от числа тех, чья сословная и социальная принадлежность была известна. Это всего лишь $\frac{1}{10}$ часть по сравнению с долей среди словацких интеллигентов по данным, приведенным у Гучко. (Доля дворян в населении Чехии составляла примерно $\frac{1}{10}$ по сравнению с их долей в населении Словакии.) Роль духовенства была значительной, однако меньшей, чем у словаков. С другой стороны, среди подписчиков бросается в глаза количество зажиточного крестьянства и особенно производителей, связанных с земледелием. Число пивоваров и мельников в целом было выше, чем число торговцев или чиновников. Об исключительном участии представителей этих двух профессий в чешском национальном возрождении свидетельствует и то, что многие чешские политики первого поколения были сыновьями мельников, как, например, Ригер и Троян, Пернер и Стробах. Чешская деревня и провинциальные города были опорой газеты Гавличека. Из пражских немецких газет лишь у «Constitutionelles Blatt aus Böhmen» в 1849 г. было примерно на $\frac{1}{3}$ больше подписчиков вне Праги, чем у «Národní poviny». Густая сеть школ и высокая степень грамотности, непосредственное участие зажиточных слоев чешской деревни в экономической жизни страны в период довольно быстрого развития ее промышленного потенциала, создавали предпосылки для возникновения и роста чешской буржуазии, опирающейся на земледельческое производство,

а позднее, с 60-х годов — и для быстрого количественного роста чешской буржуазной интеллигенции.

В самом конце XIX в. издатель Й. Р. Вилимек опубликовал внушительную книгу: «Национальный альбом. Собрание портретов и биографий чешских людей, выдающихся и заслуженных своими трудами и стремлениями». Альбом содержит 280 «tableaux», оформленных во вкусе того времени страниц с портретами выдающихся мужчин и женщин, расположенными в соответствии с родом их деятельности. Рядом с портретами наиболее значительных личностей помещены изображения их родного дома, список их произведений, театральных ролей и т. д. Книга содержит около 1400 портретов, которые в большинстве случаев сопровождаются краткими биографическими очерками, помещенными в текстовой части книги. В этих очерках довольно мало информации о социальном происхождении [8, с. 39, 46—47], зато достаточно — о месте жительства. Большинство из представленных в книге лиц жили в Праге, многочисленны и упоминания чешских провинциальных городов, а иногда и деревень. Вместе с тем чехи, живущие в Моравии, приводятся в альбоме лишь если речь идет о выдающейся личности.

Из венских и силезских чехов упомянуты лишь самые знаменитые. Несмотря на то, что место жительства большинства из них — Прага, она является местом рождения лишь 18% представителей нации старшего поколения (родившихся до 1820 г.), 21 — среднего поколения (родившихся в 1841—1850 гг.) и 30% представителей младшего поколения (родившихся в 1861—1870 гг.). Таким образом, большинство выдающихся чехов-пражан составляли лица родом из сельской местности и небольших городов, которые позже переехали в Прагу. Примерно относительно 95% представленных в альбоме лиц, можно установить профессиональные занятия, поэтому приведенная ниже таблица 6 дает ценный обзор профессиональной структуры чешской культурной элиты второй половины XIX в.

Принципы, положенные в основу «Национального альбома», привели к несоразмерно большой представленности творческой интеллигенции. Несоразмерно мало здесь представлены юристы, несмотря на то, что они активно действовали в органах городского самоуправления в Чехии. Удельный вес адвокатов в чешской общественной жизни второй половины XIX в. значительно превышал отраженные в альбоме 4%, которым соответствуют 57 имен и портретов. Тот факт, что в альбоме основное внимание уделяется интеллигенции, проявившей активность в последние десятилетия XIX в., а также то, что его издатель был явным либералом, способствовали тому, что католическое духовенство было представлено лишь 6%. Тот факт, что на четырех католических священников всегда приходится один протестантский, в то время, как среди всего населения, чешского по национальной принадлежности, один протестант приходился на сорок католиков, свидетельствует о существенно большей национально-культурной активности протестантского духовенства, хотя, также разумеется, что идейная ориентация издателя альбома могла вести и к преувеличенному подчеркиванию этого различия путем более пристрастного выбора среди католического духовенства. Учителя школ всех ступеней были, несомненно, главными пропагандистами чешского либерального национализма во второй половине XIX в. Это отражено и в «Национальном альбоме», где к этой профессии относится 30% всех лиц, имеющих в нем. Вместе с тем, и здесь мы можем убедиться в субъективизме авторского выбора. Примерно из 150 чехов, являвшихся в XIX в. преподавателями высшей школы, здесь отражено 102, т. е. приблизительно $\frac{2}{3}$, и при этом мы напрасно будем искать портрет Т. Масарика, с которым издатель альбома неоднократно полемизировал, нередко не в самой учливой форме, на страницах своей газеты «Humoristické listy».

В то время как чешская образованная элита, как она представлена на страницах «Национального альбома», была, как по своей численности, так и по внутренней структуре, вполне сравнима с культурной элитой

Группа профессий		Соответствующих лиц		Группа профессий		Соответствующих лиц	
Узкая профессия	Численность	%	Узкая профессия	Численность	%		
1. Сельское хозяйство	65	4,9	Чинovníк городского и земельного самоуправления	34	2,6		
Дворянин, крупный помещик	8	0,6	Духовенство	106	7,9		
Помещик	11	0,8	Католическое:				
Крестьянин	8	0,6	епископ	3	0,9		
Садовник (огородник)	6	0,5	преподаватель высшего учебного заведения	13	1,0		
Мельник	2	0,1	каноник	10	0,8		
Пивовар	4	0,3	преподаватель гимназии	7	0,5		
Управляющий имением	17	1,3	приходской священник	41	3,0		
Лесник	9	0,7	монах	6	0,5		
Буржуазия	153	11,5	капелан	2	0,1		
Крупный торговец	12	0,9	воспитатель	3	0,2		
Торговец	8	0,6	Протестантское:				
Архитектор, строитель	27	2,1	суперинтендант	4	0,3		
Фабрикант	36	2,7	преподаватель высшего учебного заведения	1	0,1		
Финансист	13	1,0	пастор	16	1,2		
Банковский чиновник	10	0,7	Учителя и работники просвещения	429	32,4		
Мелкий предприниматель	8	0,6	Профессор университета	102	7,7		
Ремесленник	4	0,3	Преподаватель гимназии	165	12,4		
Аптекарь	2	0,1	Учитель	129	9,7		
Книгоиздатель	33	2,5	Музейный работник	8	0,6		
Свободные профессии	143	8,5	Библистекарь	10	0,8		
Врач	47	3,5	Историограф, архивариус	9	0,7		
Адвокат	57	4,3	Студент	6	0,5		
Нотариус	9	0,7	Литературные и художественные профессии	329	24,8		
Техник и мастера, связанные с искусством	31	2,3	Писатель	10	0,7		
Геолог, химик, электротехник, технолог, изобретатель и т.д.	16	1,2	Журналист	70	5,3		
Гравер и т.д.	7	0,5	Путешественник	6	0,5		
Мастер по музыкальным инструментам	8	0,6	Драматург, директор театра	11	0,8		
Государственные служащие	71	5,5	Актер	32	2,4		
Офицер	5	0,4	Певец	24	1,8		
Унтер-офицер	1	0,1	Композитор, музыкант	83	6,3		
Военврач	4	0,3	Художник	72	5,4		
Дипломат	1	0,1	Скульптор	21	1,6		
Государственный чиновник	1	0,1	Члены семей	30	2,2		
	26	2,0	Супруга	30	2,2		

других европейских народов, структура словацкого образованного слоя была в начале XX в. значительно деформированной, а его численность по сравнению с общим количеством словаков непомерно мала. Причины этого значительного различия заключались как в отличающейся социальной структуре обоих народов, так и в их разной политической ситуации. Чехи, декларирующие принадлежность к своей нации, были представлены не только в выборных органах общин, уездов, земель и, наконец, всей Цислейтании, но также и среди государственных чиновников, исключая высшие должности, генералитет и дипломатическую службу, хотя и там встречаются отдельные исключения, например, в инженерных частях или консульской службе [10].

Долю словаков в профессиях, представители которых относились к интеллигенции, довольно подробно отразила венгерская перепись населения 1910 г. Позже результаты этой переписи чехословацкие статистики включили во второй том «Статистического справочника Чехословацкой республики», причем учли данные по всем комитетам, которые в 1918 г. целиком или частично вошли в состав Чехословакии (табл. 7).

Если мы обратим внимание на то, что в 16 комитатах и 4 муниципальных городах, обследованных статистиками, жило в 1910 г. 1 709 360 словаков (51% населения), 152 437 русинов (4,6), 211 651 немец (6,3), 1 209 186 венгров (36,1) и 67 966 представителей других национальностей (2,0% населения), мы приходим к выводу, что среди словацкого населения интеллигенция составляла 0,17%, у русин — 0,19, у немцев 0,96, у венгров 2,04, у остальных национальностей — 0,45%. Среди словацкой интеллигенции было только 23 государственных чиновника (1,3% всех чиновников), 35 нотариусов (3,2) и ни одного судьи или прокурора, ни одного профессионального актера или актрисы; было также всего 26 врачей (3,3%).

В некоторых профессиях в течение двадцати лет, с 1890 по 1910 г. наблюдалось явное снижение числа словаков. Так, среди учителей начальных школ в 1890 г. было еще 1486 словаков; в 1910 г. уже только 343, среди нотариусов, включая их помощников, в 1890 г. было 172 словака, а в 1910 г. — только 67; среди чиновников судов и прокуратур это количество снизилось с 50 до 10 человек, а среди судей и прокуроров — с 6 человек до 0 [11, с. 168]. Оказалось, что самой многочисленной группой среди словацкой интеллигенции, как ее определяла венгерская статистика того времени, были 1423 акушерки, 49% среди всех учтенных статистикой 1910 г. лиц, которые в силу своей профессии включались в интеллигенцию, указали в листе переписи словацкий язык в качестве родного.

В то время как предшествующий анализ показал, что в начале XX в. у словаков была лишь небольшая группа лиц с высшим образованием, ситуация чешской и польской интеллигенции была иной. У чехов, наряду с двумя техническими вузами, начиная с 1882 г. был чешский университет, а у поляков два университета — Краковский и Львовский. В конце XIX в. уже значительная часть людей, которых мы относим к интеллигенции, имела высшее образование. Многие журналисты и писатели учились в высших учебных заведениях, но в большинстве своем не завершали своего образования. Лишь учителя готовились к своей профессии в педагогических институтах, соответствовавших средним учебным заведениям. Анализ социального происхождения студенчества, который делают возможным данные в каталогах, дает информацию о том, из каких социальных слоев рекрутировалась вузовская интеллигенция.

Предпосылкой к учебе в университете была сдача выпускных экзаменов в классической или реальной гимназии. Сдача выпускных экзаменов в реальной гимназии давала возможность поступления лишь в технический вуз. Рост числа учащихся в классических и реальных гимназиях отражал растущие возможности работать по профессиям, требовавшим высшего или среднего образования и растущие потребности общества в этих профессиях. Этот количественный рост был постоянным, несмотря на годы первой мировой войны и нацистской оккупации, для студенчества в Чешских землях во второй половине XIX и в первой половине XX в.

Служащая интеллигенция и представители свободных профессий
в словацких комитетах, классифицированные по родному языку
[11, s. 166—167, 63, 71]

Категории государственной и муниципальной службы и свободных профессий	Количество интеллигентов, относящихся к соответствующим категориям по их родному языку					
	словацкий	русинский	немецкий	венгерский	другой	всего
II. Управление:						
государственные чиновники	23	—	32	1754	10	1819
комитатские чиновники	18	—	11	924	1	954
городские чиновники	11	—	59	760	1	831
государственные служащие	10	—	6	197	1	215
комитатские служащие	15	—	11	171	—	197
городские служащие	7	1	18	183	—	209
нотариусы в общинах и комитетах	35	1	20	1040	—	1096
помощники нотариусов	32	—	21	561	—	614
муниципальные служащие	13	—	13	224	—	250
III. Судопроизводство и адвокатура:						
судьи и прокуроры	—	—	3	470	1	474
чиновники в судах и прокуратурах	10	1	13	832	1	846
служащие тюрем и исправительных учреждений	24	—	15	314	2	355
адвокаты	82	2	28	881	1	994
кандидаты в адвокаты и присяжные поверенные	28	—	24	513	1	566
писари у адвокатов	40	—	42	332	—	414
IV. Церковь:						
церковнослужители	349	77	138	1730	7	2301
капеланы, проповедники и т. д.	79	2	42	343	7	463
монахи	29	—	90	420	36	575
V. Образование:						
воспитательницы в детских садах	5	—	13	338	1	357
учителя основных и воскресных школ	343	67	128	4144	5	4687
учительницы основных и воскресных школ	66	1	47	1528	4	1646
учителя высших народных и городских училищ	—	1	4	233	2	240
учительницы высших народных и городских училищ	1	—	10	206	1	218
преподаватели средних школ	10	—	12	622	4	648
частные воспитатели, репетиторы	3	—	52	163	2	220
воспитательницы	7	—	254	295	64	620
VI. Здравоохранение:						
врачи	26	1	57	705	4	793
фармацевты и аптекари	9	—	12	267	3	291
помощники аптекаря	12	—	14	307	1	334
ветеринары	1	—	6	198	2	207
акушерки	1423	124	203	1043	16	2809
VIII. Искусство и литература						
журналисты	2	—	5	37	—	44
актеры	—	—	3	103	—	106
актрисы	—	—	—	113	—	113
IX. Прочие						
инженеры	2	1	16	69	1	89
Общее число по приведенным профессиям	2715	280	1412	22009	179	26595
Другие профессии интеллигенции	196	13	621	2671	129	3630
Всего	2911	293	2033	24680	308	30225

Самые первые данные о численности учащихся гимназий относятся к 1816 г., когда в 38 6-классных гимназиях в Чешских землях училось 7 600 мальчиков; последние же данные по изучаемому периоду относятся к 1910 г., когда в 191 гимназии (обоих видов) обучалось уже 54 000 мальчиков и девочек. Доля гимназистов в их поколении была в 1816 г. 0,62%,

к 1860 г. эта доля гимназистов по отношению к числу их сверстников составляла 0,73% — таким образом за 44 года увеличение их доли не было значительным, зато в следующие 40 лет отмечается большой рост, и в 1900 г. в Чешских землях уже посещало гимназии 1,64% молодых людей. В течение следующих 10 лет эти средние школы посещало уже 2,04% поколения. Таким образом, с 1900 по 1910 г. ежегодно увеличение равнялось примерно 4%. В этом быстром росте немалую роль играло введение по всей стране обучения девочек.

Во второй половине XIX в. в Чешских землях быстро росло и количество гимназий. В 1851 г. их было здесь 39, в 1880 г. — 121 (чешские и немецкие), в 1910 г. — 191 [4, s. 25—27; 12]. Большую роль в их быстром росте играли города, в которых они находились. Городское самоуправление выделяло на строительство этих школ немалые средства. Появление же учащихся и профессоров в известной степени приносило доход горожанам, однако важнее было то, что существование гимназий поднимало престиж города и самооценку его жителей. Гимназии отнюдь не были школами лишь для сыновей буржуазии, как в свое время упрощенно писалось. Из них эти школы посещали лишь те, кто намеревался получить профессию юриста или врача или хотел получить углубленное техническое образование. Зато все в большем количестве эти школы посещали сыновья государственных чиновников, служащих фирм и особенно учителей. В последнем десятилетии XIX в. здесь учились также дети из семей служащих, и даже обучение в гимназиях сыновей рабочих уже не было исключением. Особенностью, которой чешская гимназия отличалась, видимо, от всех других в центральной Европе, было большое количество мальчиков, родителями которых были крестьяне, мальчиков из деревень. Уже от начала XIX в. немалое число младших крестьянских сыновей готовилось к учебе в католической духовной семинарии, в конце века юноши из деревень учились и на юридическом, философском, а иногда и медицинском факультетах, но особенно часто они изучали агрономию и технические науки.

Специфической чертой развития Чехии этого времени было постоянное увеличение в гимназиях, где языком обучения был чешский, числа мальчиков, а примерно с 1910 г. и девочек из семей иудейского вероисповедания, которые до 80-х годов почти без исключения посылали своих детей в немецкие средние школы. Этот процесс перехода еврейских мальчиков в чешские гимназии начался в сельской местности, особенно в Восточной Чехии, с некоторым запозданием распространился на Прагу, где, однако, половина евреев продолжала примыкать к немцам, и наконец охватил и некоторые моравские города.

При постоянном росте числа студентов вузов, иногда, разумеется, наблюдалась стагнация и упадок по некоторым специальностям — в те периоды, когда спрос на соответствующих специалистов был временно удовлетворен, как это, например, было в чешских технических вузах в 80-х годах XIX в. или на философском факультете в последние годы перед первой мировой войной. Постоянное снижение интереса наблюдалось в Праге и к богословскому факультету. Это связано, вероятно, со значительным сдвигом в мировоззрении, который обусловил, что количество католических священников в 1900 г. в Чехии было лишь на 15% выше, чем в 1816 г., несмотря на почти двукратное — за период чуть меньше столетия — увеличение численности населения, из которого 95% продолжало принадлежать к католицизму [11, s. 99—104; 13].

Новые классические и реальные гимназии, открывшиеся в чешских провинциальных городах, облегчили доступ в ряды интеллигенции талантливым и целеустремленным выходцам из незажиточных семей местных жителей. Уже в 1887 г. Пауль фон Гауч, тогдашний министр культуры и образования, высказал опасения, выгоден ли обществу слишком большой наплыв детей из низших социальных слоев, «в отношении которых нельзя рассчитывать на необходимую поддержку семьи для получения образования, которое способна предоставить средняя школа». Сам император высказывал в тот период свои опасения по поводу излишнего

Структура студенчества Краковского и обоих пражских университетов
в 1890 г. (в %) [15; 16]

а) Распределение студентов по факультетам								
Университет	теологический	юридический	медицинский	философский	всего			
Краков	5	51	31	31	100			
Прага, чешский	8 ¹	40	45	7	100			
Прага, немецкий	3	43	43	11	100			
б) Социальное происхождение студентов по факультетам ²								
Факультет	Род занятий отца (опекуна)							всего
	помещик	предпри- иматель	ремеслен- ник	кресть- янин	свобод- ная про- фессия	чиновник/ учитель	рабочий	
1. Теоретический								
Краков	3	21	6	51	0	15	4	100
Прага, чешский	1	11	17	43	1	21	6	100
Прага, немецкий	0	27	15	19	0	35	4	100
2. Юридический								
Краков	8	15	8	15	10	41	3	100
Прага, чешский	2	20	12	22	7	34	3	100
Прага, немецкий	6	39	3	8	8	36	1	100
3. Медицинский								
Краков	7	17	7	4	25	37	3	100
Прага, чешский	3	23	11	29	4	29	1	100
Прага, немецкий	4	50	5	11	9	20	1	100
4. Философский								
Краков	18	5	15	18	10	31	3	100
Прага, чешский	1	11	19	22	5	36	6	100
Прага, немецкий	4	23	8	18	6	38	3	100

¹ Студенты богословского факультета, который вплоть до 1891 г. был общим при немецком университете, разделялись на две группы по национальностям, чтобы было возможно сравнение.

² Примерно у 1/10 части совершеннолетних студентов медицинского и юридического факультетов обоих пражских университетов отсутствуют данные о занятии отца; как и примерно у 1/6 части студентов теологического и философского факультетов. Эти студенты при сравнении не учитывались.

количественного роста «образованного пролетариата» [14]. Однако ни явное недовольство верхов, ни политика затягивания государственными учреждениями утверждения новых, только что организованных, средних школ не заставили городские советы в Восточной Чехии и в Моравии отказать от открытия еще в 90-х годах новых гимназий.

Если проследить жизненный путь выпускников чешских гимназий в провинциальных городах, что документируется значительным количеством информации, содержащейся в написанных превосходным стилем годовых отчетов школ, а также специальных юбилейных публикациях, то окажется, что еще в 60-х и 70-х годах XIX в. многие выпускники, в отличие от своих пражских сверстников, все еще ориентировались на изучение богословия, хотя далеко не все из них завершали это образование. Позднее, уже во втором десятилетии существования этих провинциальных гимназий, часто, а с 80-х годов повсеместно, преобладал интерес к юридическому образованию, на рубеже столетия возрос интерес к медицине, вновь ожил интерес к технике, а еще позднее — к изучению иностранных языков и естественных наук. Примерно 1/3 выпускников сразу же после школы поступала на службу в учреждения.

Информацию о том, откуда приходили будущие интеллигенты, наиболее репрезентативно представляют списки студентов высшей школы. Их анализ дает возможность выяснить, где студенты родились, где жили их

Структура студенчества Краковского университета в 1910 г. и обоих пражских университетов в 1913 г. (в %) ³

Социальное происхождение студенчества по факультетам ⁴								
Факультет	Род занятий отца (или опекуна)							Всего
	помещик	предприниматель	ремесленник	крестьянин	свободная профессия	чиновник учитель	рабочий	
1. Теологический								
Краков	3	4	9	63	3	10	8	100
Прага, чешский	0	7	20	26	1	34	12	100
Прага, немецкий	1	16	14	27	0	27	15	100
2. Юридический								
Краков	2	19	9	19	8	37	6	100
Прага, чешский	2	15	8	18	7	45	5	100
Прага, немецкий	9	30	5	5	8	45	3	100
3. Медицинский								
Краков	4	17	8	12	16	39	4	100
Прага, чешский	1	18	7	18	6	44	4	100
Прага, немецкий	2	41	6	6	12	31	2	100
4. Философский								
Краков	6	10	5	21	13	39	6	100
Прага, чешский	1	15	11	19	3	45	6	100
Прага, немецкий	0	25	5	8	9	48	5	100

³ Данные для обоих пражских университетов за 1913 г. и для немецкого университета за 1890 г. определены на основании анализа списков студентов.

⁴ Данные о роде занятий отца отсутствуют на пражских факультетах в следующем процентном выражении: чешский теологический — 4%, немецкий теологический — 3, чешский юридический — 8, немецкий юридический — 7, чешский медицинский — 7, немецкий медицинский — 9, чешский философский — 7, немецкий философский — 10%. Почти во всех случаях это касается совершеннолетних студентов.

родители, где они закончили школу, какова была их национальная и религиозная принадлежность, а также профессия отцов. Списки не дают ответов на все вопросы относительно всех студентов, так как совершеннолетние студенты, т. е. лица, старше 24 лет, не были обязаны давать сведения о своих родителях. В Пражском университете такие данные отсутствовали у 12—14% студентов. Более всего побуждали к анализу данные о социальном происхождении студентов. После анализа данных из списка чешского университета от 1890 г., с которыми можно было сравнить анализ структуры студенчества Краковского университета, для завершения сравнительной работы необходимо было подготовить анализ социальной структуры студентов Пражского немецкого университета за 1890 г. и обоих Пражских университетов за 1913 г. Результаты анализа приведены в таблицах 8 и 9.

Сравнив обе предыдущие таблицы, мы придем к нескольким выводам. Первый: поскольку увеличивалась возможность занять положение в обществе для тех, кто имел высшее образование, в 1890 г. среди студентов, за исключением Краковского университета, большинство происходило из семей, где родители не имели высшего образования. Вместе с тем, в 1910 г. число студентов из семей адвокатов, врачей, чиновников, профессоров и учителей заметно увеличилось в обоих Пражских университетах, где на всех факультетах, кроме богословского, они составляли примерно $\frac{1}{2}$ студенчества. В Кракове, наоборот, число выходцев из этих семей на юридическом и медицинском факультетах несколько снизилось, вместе с тем, на медицинском и философском оно превышало $\frac{1}{2}$, а на юридическом составляло 45%. Детей помещиков, дворян в чешском университете всегда было очень мало. Их доля в Кракове, в 1890 г. еще сравнительно большая, уменьшалась, в то время, как на юридическом факультете Пражского немецкого университета проявилась тенденция к ее увеличению. Среди них было немало сыновей из семей, живущих в Праге

аристократов, служащих офицерами и чиновниками высокого ранга. Буржуазия была внушительно представлена в Пражском немецком университете в 1890 г. И хотя ее доля в этом учебном заведении до 1913 г. несколько уменьшилась, именно выходцы из буржуазных семей определяли характер университета. Дети из буржуазных семей были стабильно представлены $\frac{1}{5}$ частью на юридическом и медицинском факультетах Краковского и Пражского чешского университетов. На философских факультетах их доля значительно выросла перед первой мировой войной, что объясняется в первую очередь приемом студентов, рекрутировавшихся в первом поколении часто именно из зажиточных буржуазных семей. Семьи ремесленников были шире представлены в чешском университете и меньше всего — в немецком, в целом же в течение двух десятилетий их количество мало изменилось, за исключением философского факультета, где была явно заметна тенденция к снижению. Почти $\frac{1}{4}$ выходцев из крестьянских семей среди студентов чешского университета в 1890 г. было исключением в общеевропейском масштабе. С одной стороны, это было обусловлено наличием довольно многочисленного зажиточного и к тому же образованного слоя в чешском крестьянстве, с другой — густой сетью гимназий в провинциальных городах. Эта доля крестьянских детей осталась на высоком уровне и в 1913 г., хотя и снизилась почти на 4%, больше всего — на медицинском факультете. В Кракове провинциальные студенты преобладали на богословском факультете, на других факультетах их доля росла, особенно на медицинском. В Пражском немецком университете они и в 1890 г. не были значительно представлены, а к 1913 г. их число еще больше снизилось; единственное исключение составлял теологический факультет.

Результаты сравнения социальной структуры студенчества трех университетов делают возможным вывод о том, что в начале XX в. удельный вес и значение интеллигенции в центральноевропейском обществе все больше возрастали во всех областях общественной жизни. Она постоянно пополняла свои ряды собственными детьми. Но вместе с тем не уменьшалось различие между ее зажиточными слоями — врачами, адвокатами, высшим чиновничеством — с одной стороны, и незажиточными, зависящими от оклада преподавателями средней школы, низшими чиновниками, журналистами — с другой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Die Habsburgermonarchie 1848—1918. Bd II. Wien, 1975.
2. Česká statistika, 1978, № 13; Obyvatelstvo českých zemí v letech 1754—1918, díl. I. 1754—1865. Praha, 1978, s. 61—63.
3. Dvořáček F. Soupisy obyvatelstva v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1754—1921. Praha, 1926.
4. Jaroš K., Job J. Rozvoj československého školství v číslech, Praha, 1961.
5. Acta Universitatis Carolinae, sv. XX, č. 2, 1980, s. 100—101.
6. Hučko J. Sociálne zloženie a pôvod slovenskej obrodenskej inteligencie. Bratislava, 1974.
7. Havránek J. Předpoklady působení české kultury v Čechách v 19. století.— In: Město v české kultuře 19. století. Praha, 1983.
8. Havránek J. Zdroje historického povědomí širokých vrstev českého národa.— In: Povědomí tradice v novodobé české kultuře. Praha, 1988.
9. Johnson O. V. Slovakia 1918—1938. Education and the Making of a Nation. New York, 1985.
10. Havránek J. Snahy německé buržoazie o rozdělení Čech na sklonku 19. století.— In: Zápisky katedry československých dějin a archivního studia, 1961, s. 19—30.
11. Statistická příručka Republiky československé, sv. II. Praha, 1925.
12. Atlas obyvatelstva CSSR. Praha, 1962, s. 35—37.
13. Statistická příručka kralovství českého. Praha, 1913, s. 126.
14. Kazbunda K. Krise české politiky a vídeňská jednání o takzvané punktace r. 1890.— Český časopis historický, 1934, s. 88—95.
15. Tabaka Z. Analiza zbiorowoci studenckiej w latach 1850—1918.— In: Studia z dziejów młodzieży Uniwersytetu Krakowskiego od Oświecenia do połowy XX w. Kraków, 1970.
16. Havránek J. Počátky a kořeny pokrokového hnutí studentského na počátku devadesátých let 19. století.— In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 1980, s. 5—33.



ЧЕШСКО-ВЕНГЕРСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Данная тема не была предметом систематического исследования. С венгерской стороны внимание к проблемам чешского национального возрождения и венгеро-чешских культурных отношений сосредоточивалось вокруг журнала «Apollo», который в 1934—1940 гг., занимая оппозиционное отношение к режиму Хорти, подчеркивал дружеские связи с соседними народами. С этим журналом, в частности, сотрудничал О. Шаркань, проделавший немалую работу в этой области [1—3]¹ и трагически погибший во время второй мировой войны. О. Шаркань уделял внимание, в первую очередь, деятельности венгерских ученых в пражских научных центрах, отношению Й. Добровского к венгерскому языку, современной венгерской литературе в чешской среде. Он первым указал на тесные чешско-венгерские культурные связи в конце XVIII — первой половине XIX в.

После 1945 г. были созданы условия для широкого исследования этих проблем². Большой вклад в их изучение внесли чехословацкие ученые, в первую очередь Й. Мацурек [8] и Р. Пражак [9—14]. Их внимание привлекали прежде всего контакты чешских и венгерских просветителей, венгерское якобинское движение и чехи, деятельность венгерской протестантской интеллигенции в Чешских землях после издания закона о веротерпимости и др. Отсутствуют, однако, обобщающие работы по типологии этих связей, показывающие место и роль чешско-венгерских взаимоотношений на этапе формирования национальных культур чехов и венгров, когда развитие каждой сферы культуры нельзя понять без учета ее остальных областей, влияния соседних народов, а также широкого европейского контекста.

Следует подчеркнуть, что термин «национальное возрождение», принятый историками чешской культуры и охватывающий период с 70-х годов XVIII в. до середины XIX в., не встречается в трудах венгерских ученых. Период перехода от феодализма к капитализму в Венгрии, становления национальной культуры, венгерские историки делят на семь коротких этапов, последний из которых — революция 1848—1849 гг., в то время как исследователи литературы и искусства придерживаются традиционной периодизации 1772—1849 гг. с вехой 1825 г., отделяющей период Просвещения от так называемого периода реформ, что соответ-

Титова Людмила Николаевна — канд. филол. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

¹ Правда, к проблеме чешско-венгерских связей еще в начале XIX в. обращались некоторые венгерские историки в своих работах, издаваемых как в Буде, так и в Вене (например, [4—6]).

² В 1965 г. вышел в свет сборник чехословацких и венгерских исследователей, специально посвященный этим вопросам [7].

вует двум этапам развития венгерского национального движения — культурно-языкового и политического. В соответствии с этой периодизацией следует рассматривать и чешско-венгерские культурные взаимоотношения на этапе формирования национальных культур, открывающиеся контактами ученых-просветителей и завершающиеся тесными взаимоотношениями в области науки и литературы передовых представителей культуры обоих народов — Фр. Палацкого, В. Ганки, Ф. Толди, М. Верешмари.

При анализе этих взаимоотношений встает ряд вопросов, касающихся специфики общественно-культурного развития этих народов, усвоения ими западноевропейской философии и литературы, разного отношения к идее славянской взаимности — важной составной части идеологии чешского национального возрождения, неодинакового участия в этом процессе отдельных сфер культуры и др. Так, на рубеже XVIII—XIX вв. большое значение имели связи в области науки, театральной и музыкальной культур, в то время, как с конца 20-х годов XIX в. более интенсивными становятся контакты в области литературы и изобразительного искусства. В небольшой статье, разумеется, не удастся глубоко проанализировать все эти контакты, составляющие одну из значительных глав взаимоотношений чешской и венгерской культур, возможно лишь поставить и кратко осветить эти вопросы.

Содержание и характер чешско-венгерских творческих контактов в этот период в немалой степени определяется тем, что оба народа входили в состав Австрийской монархии, а сотрудничество «малых» народов внутри монархии было одной из немногих возможностей реализации их национально-политических устремлений.

По данной теме имеются богатые источники и литература. Важный и интересный материал дает корреспонденция чешских и венгерских ученых. Прежде всего здесь следует назвать фонд Г. Добнера в Центральном государственном архиве (Прага), фонд Д. Прая в Рукописном отделе университетской библиотеки в Будапеште, фонд М. Янковича и фонд И. Рибай в Рукописном отделе Государственной библиотеки Сечени (Будапешт), корреспонденция Ф. Сечени в земском архиве Будапешта, содержащая письма чешских будителей: Й. Добровского, Я. Длабача, К. Унгара, А. Стрнада, Я. Штернберка; фонд Я. П. Церрони в Государственном архиве Брно, фонд К. Г. Румы в архиве ВАН, содержащий переписку членов Королевского чешского общества наук и Моравско-силезского экономического общества в Брно, членом которых был Румы.

Из этих богатых архивных материалов опубликована лишь небольшая часть: корреспонденция Й. Добровского [15—19], отдельные письма И. Рибай [20—22] и некоторые другие материалы.

Большой материал дают журналы: чешские («*Schonfeldské císařsko-královské pražské noviny*», «*Krameriusové císařsko-královské pražské noviny*», «*Česká včela*», «*Květy*»), венгерские («*Magyar Hirmondo*», «*Becsi Magyar Hirmondo*», «*Magyar Kurir*», «*Erdeyi Muzeum*»), немецкие («*Zeitschrift von und für Ungern*» и др.).

Несомненный интерес представляют книги, печатавшиеся в университетской типографии Буды, главным образом, в 20—30-е годы XIX в.

По спискам учащихся средних школ в Венгрии в конце XVIII — начале XIX в., хранящимся в Городском архиве Братиславы (фонд генерального инспектора венгерских школ за 1789—1849 гг., 21 том), можно восстановить число учащихся в тех городах, где имелись реформаторские школы: Дебрецен, Шарошпатак, Пап, Надькереш, Кечкемет. Один только лицей в Шарошпатоке в начале XIX в. направил в Чешские земли более 50 священников и учителей. Многие из них стали активными участниками общественно-культурной жизни Чехии эпохи национального возрождения. В реформатских семинариях этих городов обучались также чешские студенты.

Особую главу представляют собой материалы, касающиеся заговора Мартиновича и чешско-венгерских взаимоотношений этого периода, вошедшие в двухтомный труд [23], и записки Ф. Казинцы о его заключении в брненском замке Шпильберк, впервые изданные в 1931 г. [24].

Историческое и социальное положение чешского и венгерского народов на рубеже XVIII—XIX вв. в отдельных землях Австрийской монархии не было одинаковым. Несмотря на поражение восстания Ракоци в 1711 г., венгерская шляхта имела более привилегированное положение, чем чешская, сумев удержать определенную автономию. Это различие углубилось и в последующий период, особенно в первые годы правления Марии Терезии. Оппозиционно настроенная венгерская шляхта оказала ей помощь в момент, когда в борьбе за австрийское наследство решался вопрос о том, быть или не быть Австрийской монархии. В то же время чешские сословия присоединились к противникам Марии Терезии и заплатились за это. С течением времени Чешские земли лишились своего политического суверенитета.

В конце XVIII в. ситуация в Венгрии была иной, чем в Чешских землях, и в социальном отношении. В Чешских землях один шляхтич приходился на 828 нешляхтичей, в то время как в Венгрии всего на 24 [25]. Венгерской культуре оказывали большую поддержку магнаты-протестанты, ее поддерживали богатые семьи Радаи, Телеки, Эстергази, Фестетици, Сечени. Вокруг Радаи, Телеки и Сечени сосредоточивался цвет венгерской интеллигенции, ей были доступны их богатые библиотеки, они получали возможность ездить за границу и совершенствовать там свое образование. Сельская венгерская интеллигенция также сосредоточивалась вокруг крупных магнатов и патриотически настроенной шляхты. С самого начала в венгерском национальном движении тон задают шляхта и интеллигенция. Их связь с европейской общественнокультурной жизнью определила прогрессивность и радикализм программы движения.

Чешское же национальное движение могло рассчитывать прежде всего на сельские и социально более слабые городские слои. Интенсивные контакты с европейским движением, характерные для всей Венгрии, были редки для Чешских земель, за исключением пражской среды. Чешские просветители стремились — хоть и неосознанно — выйти из-под одностороннего немецкого влияния и завязать контакты, помимо других соседних народов, и с венграми.

Чешско-венгерские контакты в области науки и культуры можно проследить уже на раннем просветительском этапе, когда представители антигабсбургского сопротивления вынуждены были эмигрировать. Ведущая фигура чешской эмиграции — Я. А. Коменский в 1650—1654 гг. жил в г. Шарошпатак. Его деятельность и творчество оказали несомненное влияние на развитие венгерской педагогики. В Венгрии был написан основной труд его жизни — «Видимый свет в картинках» (1658), а также трактат «*Gentis Felicitas*» (1654), в котором он советовал Ракоци построить в Венгрии «народное государство». Основной предпосылкой такого государства должна была стать широкая демократизация, в рамках которой Коменский предлагал покончить с крепостничеством в Венгрии — на много лет раньше Монтескье [26].

Среди венгерской аристократии в Чешских землях особой популярностью пользовался «Лабиринт света и рай сердца» Я. А. Коменского (в переводе И. Риманя — венгра, жившего в Чехии более 20 лет и потому приносившего в предисловии к переводу извинения за несовершенство своего венгерского языка). Этот труд оказал плодотворное влияние на общественно-культурную деятельность венгерской аристократии в Чешских землях, способствовал ее дружескому отношению к чешской среде, внимание к ее национальным и общественным потребностям. Наследие Я. А. Коменского было живо в венгерской среде и позже, в период национального возрождения, когда на венгерском языке его труды издавал в Братиславе Симон Вебер [27].

В середине XVII в. возник кружок чешских патриотов во главе с Б. Бальбиным. Его члены близко интересовались венгерскими делами. Сам Бальбин хорошо знал труды венгерских гуманистов: Ф. Форгача, М. Иштванди и др. Бальбин бывал в Венгрии, поддерживал личные контакты с венгерским иезуитом Я. Надаши, труды которого переводил на чешский язык (1660—1661).

К первым шагам чешско-венгерских контактов в области культуры в эпоху чешского национального возрождения можно отнести переписку М. А. Фойгта и Г. Добнера с венгерским ученым пиаром Кароем Конну — участником яacobинского восстания; деятельность учеников И. Зонненфелса в Праге, Оломоуце, Опаве, Буде, Клуже; дружеские связи чешских просветителей с Ференцем Сечени и его сыном Иштваном.

Подробную информацию о венгерских событиях давала прежде всего газета Крамериуса «*Vlastenecké poviny*». В соответствии с чешскими условиями значительное место на ее страницах уделялось и языковым вопросам. Прославлялась любовь венгров к родному языку, усилия, направленные на его широкое распространение в общественной жизни страны. Чехов призывали брать пример со своих более активных и свободлюбивых соседей. Так, Крамериус в 1791 г. (№ 26) опубликовал подробный комментарий к сообщению о начале деятельности кафедры венгерского языка и литературы в Пештском университете.

Ян Рулик в своем известном трактате [28] также ставит в пример чехам венгров: «Пусть каждый возьмет за образец славный венгерский народ, осознает, насколько усердно заботится он о распространении и расцвете своего языка, причем не только простой народ, но и сословия. Недаром согласно статьи 16 венгерского сейма они подали Его имп. корол. Милости Леопольду II прошение, в котором выразили пожелание, чтобы при высших школах и при академии был утвержден преподаватель венгерского языка, чтобы в стране во всех учреждениях основным был признан венгерский язык. Только в этом случае он получит широкое распространение, к вящей славе и утешению венгерского народа... Что на это скажете вы, онемеченные и стыдящиеся своего языка чехи!».

На рубеже веков возрастает и интерес к языковым чешско-венгерским связям, что находит отражение в работах лексикографических, топонимических и др. В этой ситуации особое значение имела деятельность Й. Добровского в исследовании угрофинских языков и их связей со славянскими языками. Это проявилось прежде всего в его рецензии на работу И. Дярмата «*Affinitas linguae hungaricae cum lingvis fennicae originis grammaticae demonstrata*» (Göttingen, (1798)), опубликованной в венской газете «*Allgemeine Literaturzeitung*» (1799). Часто эти вопросы затрагиваются Добровским и в корреспонденции с Ф. Дурихом, И. Рибай и др. (особо интересовали его славянские заимствования в финском языке). На взгляды Добровского оказали сильное влияние работы Я. А. Коменского, впервые указавшего на родство финского и венгерского языков, а также труды немецких ученых, живших в России, в первую очередь, профессора петроградского университета П. Палласа, с которым Добровский встречался во время своего пребывания в России [29].

Интересы Добровского не ограничивались лишь лингвистическими проблемами венгерской и угрофинской филологии, а касались венгерской истории и славяно-венгерских исторических связей. Немало страниц посвящено этим вопросам в его корреспонденции с И. Хр. Эндлом, Ф. Сечени, М. Янковичем и другими венгерскими учеными.

Ференц Сечени (1754—1820) — выдающийся деятель венгерской культуры, основатель Национального музея и национальной библиотеки в Пеште, а также Академии наук (1825) и его сын Иштван Сечени были крупными меценатами. Они поддерживали широкие связи с чешскими аристократами — Ф. Й. Кинским, Я. Штернберком, К. Вальдштейном и др., часто бывали в Чешских землях (1794—1795, 1799). Из переписки Й. Добровского с И. Рибай известно о том, что во время своего пребывания в Праге Ф. Сечени купил библиотеку каноника Я. Рогхера, книги Й. Бартоша, дал переписать несколько чешских и венгерских рукописей. В его библиотеке были труды К. Тама, И. Добровского. Страговский библиотекарь Я. Длабач имел каталог библиотеки Ф. Сечени³. Имеются данные о том, что Ф. Сечени способствовал печатанию в пештской типографии чешских книг [19, s. 152].

³ См. письмо Я. Длабача Ф. Сечени из Праги от 23 VIII 1805 г. [30].

Й. Добровский переписывался с М. Янковичем — признанным деятелем венгерской культуры, принимавшем участие в основании венгерского Национального театра в Пеште (1837). М. Янкович неоднократно оказывал материальную поддержку венгерским актерам и драматургам, в том числе, известному венгерскому переводчику пьес А. Зехентеру, долгое время жившему в Праге. М. Янкович был в тесных дружеских контактах с пражским будителем Я. Штернберком, литомержицким каноником В. Страглом. Интерес, проявляемый Янковичем к чешским делам, сблизил его с Рибай, который обратил внимание Добровского на чешские сочинения в библиотеке Янковича [22].

1813 г. Янкович послал из Буды Добровскому свою книгу «Magyar szó-nemzés ötven példákban» (Pest, 1812). В сопроводительном письме он упоминал о многолетнем уважении к деятельности чешских будителей, с пафосом говорил о своей любви к венгерской истории и родному языку [10, с. 240]. В ответном письме Добровский подробно отвечает на вопросы Янковича, касающиеся чешского языка, заимствований в венгерском языке и предлагает обменять некоторые книги на рукописные сборники из библиотеки И. Рибай на венгерском языке. Этот обмен письмами — свидетельство внимания Й. Добровского к венгерской культуре.

Об этом же говорит и переписка Добровского с Сечени [30]. О пребывании Ф. Сечени в Праге Я. Длабач подробно информировал Рибай, одобряя интерес венгерского просветителя к чешским музеям и библиотекам. Каталог библиотеки Ф. Сечени, на который откликнулся Рибай [20, с. 160], вышел в 1807 г. Добровский предлагал издать подобный каталог чешских книг («Slavín», 1808, č. 98).

Много сделал для развития научных чешско-венгерских связей Л. Шедиус — профессор эстетики и философии пештского университета, реформатор учебных программ евангелических школ в Венгрии. В 1802 г. он основал в Праге на немецком языке журнал «Zeitschrift von und für Ungern», цель которого — пропаганда культуры народов, живущих в Австрийской монархии. Шедиус принимал также значительное участие в основании одного из ведущих венгерских научных и литературных журналов того времени «Tudományos gyűjtemény» (1817—1841), на страницах которого неоднократно появлялась информация о чешской общественно-культурной жизни.

Богатый историко-культурный материал содержит рукописное наследие словацкого просветителя, евангелического проповедника в Венгрии И. Рибай, затрагивающее вопросы общественно-культурной жизни Чехии, Словакии и Венгрии того времени, изданий научной периодики, словарей, художественной литературы, постановки театральных пьес, славянской археологии и мифологии, чешско-словацкого языкового родства и др. Рибай известен как страстный и неутомимый собиратель книг, владалец уникальной для того времени библиотеки славянских книг и рукописей. Во время пребывания в Праге (1782, 1793) он устанавливает тесные контакты с чешскими будителями, которые впоследствии регулярно высылают ему по его просьбе каталоги, а также вновь вышедшие книги и переводы. Уже в конце XVIII в. его библиотека насчитывала «много сотен томов и рукописей», из которых около половины были Libri bohemicí. Когда обстоятельства вынуждают его продать библиотеку, непременным условием Рибай было передать все собрание в одни руки с тем, чтобы книги продолжали составлять «чешско-словацкую библиотеку» и были доступны для работы. Создание такой открытой публичной библиотеки было одним из главных пунктов просветительской программы Рибай — наряду с организацией школ с обучением на словацком языке, типографии и др. [31]. Библиотека была продана М. Янковичу за 1800 флоринов — сумму, уступающую цене отдельных книг. Но главное, как он пишет Добровскому, «собрание осталось в одних руках!» [15, с. 278].

В его библиотеке были и русские книги. Особо интересовала Рибай организация школьного дела в России. Возможно, под влиянием Ломоносова в 1793 г. он пишет «Проект организации Института, либо Общества славянско-чешского среди славян в Венгрии».

Рибаи стремился возможно полнее познакомить венгерскую общность с успехами чешского возрождения, с одной стороны, и чешских будителей с яркими фактами венгерской культурной жизни этого времени, с другой. Благодаря усилиям словацкой просветительской интеллигенции, в том числе, и Рибаи, в Венгрии в конце XVIII — начале XIX в. получают распространение чешские издания, в частности, книги, издаваемые «*Ceská expedice*» Крамериуса. Предместье Пешта — Цинкота, где долгое время жил Рибаи, становится одним из центров популяризации и распространения чешской просветительской литературы.

Особую главу в истории чешско-венгерских контактов на этапе формирования национальной культуры составляют контакты в области театрального и музыкального искусства. Тема чешско-венгерских художественных связей затрагивалась в нескольких работах [32—38], авторы которых частично опираются на материал, хранящийся в венгерских архивах, в первую очередь, в рукописном отделе Государственной библиотеки Сечени и Государственном архиве (Будапешт).

Прежде всего речь идет о деятельности чешских музыкантов в замковых капеллах и театрах Венгрии в 60—90-е годы XVIII в. Так, в составе оркестра Эстергази в те годы, когда во главе его стоял Й. Гайдн, можно найти имена чешских музыкантов и композиторов: Ант. Крафта, Я. К. Крумпгольца, И. Сливы, Фр. Новотного, П. Враницкого и др. [37]. Нередко в литературе встречается упоминание о венгерском периоде деятельности П. Враницкого (1780—1785, 1790—1800), о его тесных контактах с венгерской музыкальной жизнью. Наиболее популярная опера Враницкого «Оберон» в 1790—1798 гг. в театре Буды шла около 30 раз [38, 119 Old.], что немало для тогдашнего, быстро меняющегося репертуара.

Интересная страница чешско-венгерских контактов — деятельность автора и переводчика либретто опер Гайдна и Моцарта Фр. Кс. Иржика. В 1789—1813 гг. он был режиссером пештского театра. Иржик родился в семье пражского мещанина Франтишка Иржика — автора известного прошения на имя властей об организации самостоятельного чешского театра [39]. Фр. Кс. Иржик начинал свой творческий путь у Й. Й. Бруниана, затем играл на малостранской сцене, гастролировал в Вене, Любляне, Штырском Градце, Братиславе, Пеште. Для венгерского театра он перевел с итальянского на немецкий либретто опер Моцарта «Дон Жуан», «Великодушие Тита» (1798) и ряд других. В прессе неоднократно отмечался хороший литературный язык его переводов. Иржик является также автором оригинальных пьес, в которых прославлялась сила человеческого разума над властью денег и сословных ограничений. Особенно сильно это проявилось в его пьесе с пением «Христьянская невеста-еврейка», музыку к которой написали несколько композиторов, в том числе, Ф. В. Тучек (1810). Пьеса с большим успехом шла в Буде, Пеште, Шопроне и Праге.

Драма Фр. Кс. Иржика «Штефан, первый король Венгрии» (Пешт, 1792) известна тем, что она легла в основу одноименной пьесы венгерского драматурга Й. Катоны (1813). Свою цель — привлечь в театры Буды и Пешта венгерскую публику — она с успехом выполнила. В то же время эти произведения отражали интерес Иржика к венгерским делам.

Известный пражский актер-тамовец Фр. И. Булла, с именем которого связаны первые спектакли на чешском языке в пражском Ностицком театре, уехал из Праги в Братиславу, а оттуда в Пешт (1784), где стал директором театра (1786—1789). Исследователи единодушно отмечают его борьбу за создание полноценного репертуара венгерского театра [38, 78—79 Old.]. Он ставил произведения Гете, Шекспира, Шиллера, Лессинга, а также некоторые традиционные пьесы пражского репертуара Патриотического театра: «Дезертир из сыновней любви» Г. Штефани, «Штепан Федингер» П. Вейдмана, мелодрамы И. Бенды. Несмотря на вольные адаптации Шекспира, Булла способствовал пробуждению интереса венгерской литературы к его драматургии — первые переводы на венгерский язык вышли именно в годы его деятельности в Буде. В 1786 г. Булла поставил обе известные мелодрамы И. Бенды — «Ариадна на Нак-

сосе» и «Медея». С именем Фр. И. Буллы связана первая пештская постановка оперы Моцарта «Похищение из сераля» (1798). До 1809 г. она ставилась более 50 раз [38, 81 Old.]. Вторично Булла приехал в Пешт в 1815 г. Он был членом дирекции и библиотекарем пештского театра. Директором в эти годы был граф Пал Радаи, а с 1789 г. И. Б. Бергозомер, который до этого времени был связан с театрами Праги, Брно и Оломоуца.

Сохранившиеся афиши пештского и будайского театров позволяют выяснить, что в 1809 и 1810 гг. в семи спектаклях выступал основатель пражского чешско-немецкого театра «Боуды» В. Там. Эти афиши, а также «Ofner und Pester Theater auf das Jahr 1811» — последние документы, дошедшие до нас о театральной деятельности одной из ведущих фигур чешской культуры эпохи просвещения [40, s. 83].

В 1797 г. в театр Пешта в качестве «музыкального директора» и режиссера оперного репертуара пришел М. А. Цибулька (1797—1811, 1816—1823), много сделавший для развития чешского театрального движения. Как композитор он дебютировал в пештском театре в 1797 г. музыкой к пьесе А. Коцебу «Die Negersklaven». При нем на сцене театра также ставился «Дон Жуан» и была осуществлена новая постановка мелодрамы И. Бенды «Медея». Исследователи отмечают большие успехи в драматургии и в оперном репертуаре, достигнутые пештским театром при Цибульке, пишут о настоящем культе Шиллера в годы его деятельности, когда за один только сезон 1808—1809 гг., например, были возобновлены все старые постановки этого драматурга и осуществлены новые, в том числе, «Орлеанская дева».

Наряду с музыкой чешских композиторов: В. Ировца (оперы «Агнес Сорель», «Глазной врач», «Ида», «Бархатный сюртук», «Гелена», «Мирина, королева амазонок» и др.), И. Бенды (мелодрамы «Медея» и «Ариадна на Наксосе») и П. Враницкого (опера «Оберон») на сцене пештского театра чешская музыкальная культура была представлена творчеством капельмейстера этого театра (с 1802 г.) Фр. В. Тучека — плодотворного создателя опер и пьес с пением и танцами. Творчество Тучека пользовалось популярностью еще в годы его работы в пражском Патриотическом театре, когда большинство пьес с пением и танцами шли с его музыкой. Наибольший успех имела его пьеса «Гонза Кологнат из Пршелочуе». После многолетней деятельности в пражских театрах Фр. В. Тучек принял в 1797 г. место концертмейстера у князя Петра Бирона в г. Захонь, некоторое время работал во Вроцлаве (1790) и Вене (1801), изредка наезжая в Венгрию. Окончательно он обосновался в Пеште в 1810 г. и жил там последние годы своей жизни. Помимо композиторской деятельности Тучек принимал самое активное участие в театрально-музыкальной жизни Венгрии.

В Пеште талант Тучека развернулся в полной мере. Его творчество охватывало все жанры — так называемые «волшебные сказки», рыцарские пьесы, исторические драмы, комические и героико-комические оперы. Лучшей работой Тучека была музыка к опере «Ланасса» (1805) на сюжет пьесы А. М. Лемьера «Малабарская вдова». На венгерский язык ее перевел Ф. Казинци (1793). Сохранились афиши зрелищно-героико-комической оперы Тучека «Княжна Власта, или Война амазонок», поставленная на сцене театра Буды (1817). Опера пробудила интерес к чешской истории — вскоре на сцене того же театра были осуществлены постановки оперы И. Кройцера «Либуше» (1823), трагедии Фр. Грильпарцера «Счастье и гибель короля Отакара» (1820) из жизни Пршемысла Отакара II и драмы Э. Ленца «Власта, или Воинственные девушки в Чехии» (1820).

Видные венгерские деятели культуры — М. В. Чоконаи, М. Реваи, Ф. Вершеги и другие переводили на венгерский язык чешские стихи, в том числе, песни Й. А. Штепана (они были опубликованы в журнале «Magyar Múzeum» (1790) и в лирических сборниках «Magyar Harfas» (1807)).

Чешские же композиторы писали музыку на стихи многих венгерских авторов. Достаточно вспомнить сборник Я. Плахи «Dallok Kisfaludy és Berszenyi Urak munkáiból» (Buda, 1820). Стихотворения Ш. Кишфалуди, М. В. Чоконаи и Я. Киша в первые десятилетия XIX в. часто перекладывал на музыку Я. Спех.

Что касается литературных чешско-венгерских связей в первой половине XIX в., то они не были столь интенсивными, как контакты в области музыкального и театрального искусства. Первое, что обращает на себя внимание — небольшое число переводов с чешского языка на венгерский. Единственным значительным был перевод «Краледворской рукописи», осуществленный С. Ридлом при содействии В. Ганки в 1856 г. О нем сразу же стало известно из журналов «Hesperus» и «Normayer's Archiv für Geschichte Statistik, Literatur und Kunst», широко распространенных в Венгрии.

Еще в 20-е годы XIX в. В. Ганка пытается завязать отношения с венграми, выразив желание обменять на венгерскую рукопись ценную старопольскую библию — так называемую шаршско-потоцкую библию, либо библию королевы Зофии, хранившуюся в библиотеке г. Шаршпаток. Она была переведена с чешского оригинала в 1455 г., содержала богемизмы и представляла интерес с точки зрения чешского языка и чешско-польских культурных связей XV в. Усилия Ганки, однако, не увенчались успехом. В середине XIX в. он продолжает предпринимать попытки завязать сотрудничество с венграми в области науки и литературы. Это подтверждается его перепиской с Й. Телеки и Ф. Толди. В корреспонденции затрагиваются вопросы венгерских рукописей, хранящихся в чешских архивах, возможности вести исследовательскую работу в Праге и др.

В 1829 г. в Прагу приезжает известный венгерский литературовед Ф. Толди. В. Ганка сразу же знакомит его с «найденной» им Краледворской рукописью, пишет о ней в газете «Tudománytag», издаваемой Венгерской Академией наук, первым редактором которой он был. На страницах этой газеты появляется его перевод статьи К. Винаржицкого «Современное состояние чешской литературы» (1834). Так что и при недостатке переводов венгры могли получить некоторую информацию о чешской литературе через журналы, опубликовавшие несколько статей разного уровня и степени информированности авторов.

Наиболее ценной из них представляется статья Ф. Толди в журнале «Új Magyar Múzeum» (1858). Хотя хронологически она несколько выходит за рамки нашей работы, нельзя не процитировать ее, так как здесь впервые венгерским исследователем дается оценка культуры эпохи чешского национального возрождения: «Даже горький опыт, — пишет венгерский литературовед, имея в виду революцию 1848—1849 гг., — не мог заставить меня отказаться от моих чешских симпатий. Я не смог, несмотря на его ошибки, отвернуться от того, кого постигло несчастье. А чешская история богата трагедиями. Я видел этот народ среди развалин давнего и прекрасного народного бытия, среди чужеродных элементов, с остатками опустившейся аристократии, материальную и духовную силу которой не мог заменить даже числом своим угнетенный народ, и я снял шляпу перед несколькими — весьма малочисленными — мужами, имена которых не донесли даже до нас, их ближайших соседей, мужами — героями в своем отречении и верности, мудрыми в своей вере и деятельности. Пусть осенит их своими лучами светлое будущее...» [41].

Ф. Толди отдал должное эпохе чешского национального возрождения, подчеркнув его значение для дальнейшей судьбы чешского народа и его культуры. Личные контакты Толди с Фр. Палацким, Я. Колларом и В. Ганкой способствовали его близкому знакомству с современной чешской культурой. В Ганке он видел того, кто «нашел» Краледворскую рукопись, на которую впервые обратил внимание венгров. Упоминает Толди и о современной чешской литературе (середины столетия), о переводах на чешский язык с русского (Булгаков, Лермонтов), с польского (Крашевский), с восхищением пишет о творчестве Б. Немцовой, Й. К. Тыла, К. Махи (главным образом, о поэме «Май»), о научных трудах, подчеркивая место, занимаемое «Историей народа чешского» Палацкого в современной научной чешской литературе. В своих суждениях и оценках статья Ф. Толди удачна и объективна.

Определенный интерес представляет и статья Л. Себерини «Чешская Матица» [42]. Себерини, которому принадлежит немалая заслуга в по-

пуляризации в Венгрии чешской литературы, уделяет основное внимание издательской деятельности Матицы, высказывая пожелание, чтобы аналогичная институция была создана по чешскому образцу и в Венгрии. Себерини — автор второго перевода на венгерский язык Краледворской рукописи (1814), а также переводов народных песен и сказок.

Что касается знакомства венгров с чешской культурой эпохи национального возрождения, то оно было далеко не полным. Большой интерес в первой половине XIX в. проявлялся к научной литературе, прежде всего творчеству и деятельности Фр. Палацкого. Пробуждение этого интереса можно отнести уже ко времени пребывания Палацкого в Братиславе, где он близко сошелся с венгерским студенческим обществом братиславского Лицея (К. Фабри, Й. Папп и др.). Эти связи не прекращались и в Праге. Палацкий — редактор журнала «*Sasoris Ceského Muzeum*», поддерживал тесный контакт с А. Тайсем — редактором подобного же печатного органа венгерской науки «*Tudományos gyűjtemény*», с поэтом М. Верешмарти, А. Вирозилом — профессором пештского, затем венского университетов, этнографом и лингвистом А. Регулем — директором Национального музея в Пеште.

Венгерская интеллигенция с интересом следила за работой чешского историка. Известный политик и публицист Т. Ант. Ченгери в газете «*Pesti Napló*» (1855) подробно, по главам анализировал «Историю народа чешского». Он дает основные биографические данные Палацкого, говорит об ученом как о гордости чехов, называя его «замечательной личностью XIX столетия».

Итак, в Венгрии несравненно больший отклик имели труды чешских ученых — Й. Добровского, Фр. Палацкого, Й. Шафарика, а не художественная литература. Иными словами, репрезентативной частью культуры чешского национального возрождения были общественные науки, языковедческие, исторические и археологические труды.

В то время как чешскую литературу за рубежом представляла почти исключительно научная литература, венгры в Чешских землях завоевывают признание, в первую очередь, художественными произведениями. Уже тогда европейская слава Ш. Петефи, многочисленные переводы романов Й. Этвеша и Й. Йокаи на немецкий, французский, английский и итальянский языки, широкая известность М. Верешмарти — одного из крупных европейских поэтов, по словам А. Мицкевича, — объясняет факт признания чехами венгерской лирики и романа [43].

Значительно возрастает интерес к чешской литературе у венгров на рубеже веков. Широким потоком идут переводы на венгерский язык Я. Врхлицкого, Й. И. Махара и других авторов.

Недостаточное знакомство с чешской литературой в Венгрии в определенной степени объясняется и тем, что чешская культура не имела там такого «посла» и пропагандиста, как венгерская культура в Праге в лице С. Ридла [44] — преподавателя венгерского языка и литературы Карлова университета, редактора «*Írodalmi Lapok*» — единственной венгерской газеты, выходящей в то время за рубежом, в задачи которой входила информация венгерской общественности о чешской культурной жизни.

Богатство материала, важность темы для познания истории культуры на границе двух общественных эпох, на пороге новой культурной и национально-политической жизни чехов и венгров диктует необходимость дальнейшей разработки этой проблематики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Sárkány O. Magyar kulturális hatások Csehországban 1790—1848.* Budapest, 1938.
2. *Sárkány O. Magyarok Prágában. 1773—1849.* — *Apolló*, 1936, № V, 55—70 Old.
3. *Sárkány O. A magyar irodalmi romantika cseh viszhangja.* — *Apolló*, 1935, № IV, 67—81 Old.
4. *Horányi E. Scriptores piarum Scholarum.* T. I—II. Budae, 1808—1809.
5. *Engl J. Ch. Geschichte des Ungarischen Reichs.* T. I—IV. Wien, 1813—1814.
6. *Virág B. Magyar századok.* T. I—II. Budán, 1808—1816.
7. *Dějiny a národy. Literárněhistorické studie o česko-maďarských vztazích.* Praha, 1965.

8. *Macùrek J.* České a uherské dějepiscectví v počátcích českého a mad'arského národního obrození.— In: Jozef Dobrovský. Praha, 1953, s. 473—506; *Macùrek J.* Z dějin české a mad'arské spolupráce v letech 1849—1867.— Slovanský přehled, 1969, № 5, s. 329—336.
9. *Pražák R.* Mad'arská reformovaná inteligence v českém obrození. Praha, 1962.
10. *Pražák R.* Neznámé dopisy Josefa Dobrovského do Uher.— In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno, 1962, № 9, s. 231—242.
11. *Pražák R.* K metodologii studia česko-mad'arských kulturních vztahů za národního obrození.— In: Sborník družby pěti bratrských universit. Praha, 1966, s. 177—182.
12. *Pražák R.* Češi a Mad'aři v počátcích národního obrození.— In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno, 1968, № 15, s. 73—78.
13. *Pražák R.* Dobrovský a Kazinczy.— In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno, 1971, № 17—18, s. 45—58.
14. *Pražák R.* Rané osvícenství v Českých zemích a v Uhrách a osvícenská fáze národního obrození.— In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno, 1985, № 32, s. 111—117.
15. *Vzájemné dopisy J. Dobrovského a J. Ribaye z let 1783—1810.* Praha, 1913.
16. *Vzájemné dopisy J. Dobrovského a J. S. Bandtkého z let 1810—1827.* Praha, 1906.
17. *Vzájemné dopisy J. Dobrovského a J. V. Zlobického z let 1781—1807.* Praha, 1908.
18. *Dopisy J. Dobrovského s A. Helfertem.* Praha, 1941.
19. *Dopisy J. Dobrovského s J. P. Cerronim.* Praha, 1948.
20. *Тимова Л. Н.* Из наследия словацкого просветителя Ю. Рибай.— В сб.: Культура и общество в эпоху становления наций. М., 1974.
21. *Тимова Л. Н.* Из наследия чешского просветителя Яна Рулика.— Советское славяноведение, 1980, № 6.
22. *Из истории чешско-словацко-венгерских культурных связей на рубеже XVIII—XIX вв.— Советское славяноведение, 1982, № 6.*
23. *A magyar jakobinssok iratai.* T. I—II. Budapest, 1952—1957.
24. *Kazinczy F. Fogságom naplója.* Budapest, 1931.
25. *Fényes Al. V. Statistik des Königreiches Ungarn.* Pesth, 1843, 134 Old.
26. *Pražák R.* Komenský a Mad'aři.— In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno, 1974—1975, № 21—22, s. 135—140.
27. *Rác L. Comenius Sáraspatakon.* Budapest, 1931.
28. *Sláva a výbornost jazyka českého, předložená od J. Rulíka.* Prag, 1792, s. 38—39.
29. *Litterarische nachrichten von riner auf Veranlassung der böhmische Gesellschaft der Wissenschaften im Jahre 1792 unternommenen Reise nach Schweden und Russland.* Von J. Dobrovsky. Prag, 1796.
30. *Országos Levéltár (Sign. P. 623).* Budapest.
31. *Menčík F.* Jiří Ribay. Kapitola z dějin literárních. Vídeň, 1892.
32. *Pošťolka M.* K mad'arské větvi naší hudební imigrace v 18. a 19. st.— Hudební rozhledy, 1959, № 4, s. 150—151.
33. *Pražák R.* Cestí umělci v Uhrách na přelomu 18. a 19. st.— Slovanský přehled, 1969, № 4, s. 344—351.
34. *Pražák R.* Cestí divadelní umělci na německém divadle v Budíne a v Pešti na přelomu 18. a 19. st.— In: Otázky divadla a filmu. T. I. Brno, 1970, s. 63—77.
35. *Isoz K.* Buda és Pest zenei művelodése. 1686—1873. T. I. Praha, 1961.
36. *Racek J.* Česká hudba. Praha, 1958.
37. *Pošťolka M.* Joseph Haydn a naše hudba 18. st. Praha, 1961.
38. *Kádár J.* A budai és pesti német színpéztörténete 1812-ig játékszíni és drámairodalmi szempontból. Budapest, 1914.
39. *Тимова Л. Н.* Чешский театр эпохи национального возрождения. М., 1980.
40. *Kačer M.* Václav Thám. Praha, 1965.
41. *Toldi F.* A cseh irodalom.— Új Magyar Múzeum, 1858, № 3, 244—245 Old.
42. *Szeberényi L.* A cseh maticza.— Pesti Napló, 1855, № 96.
43. *Bujnák P.* Neruda a Petefi. Bratislava, 1932, s. 391—404.
44. *Adamová Z.* Szende Riedl. Ustřední postava česko-mad'arských vztahů v 50. letech minulého století.— Slavia, 1958, № 2, s. 273—287.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

- Основы балканского языкознания: Языки Балк. региона / Отв. ред. Десницкая А. В. Ч. I. Новогреческий, албанский, романские языки 297 с., карт. Л., 1990.
- Писарев Ю. А.* Тайны первой мировой войны: Россия и Сербия в 1914—1915 гг. М., 1990, 220 с., ил.
- Поп И. И.* Чехословакия — Советский Союз, 1941—1947 гг. / Отв. ред. Волков В. К., М., 1990, 284 с.
- Проблемы сопоставительной грамматики славянских языков. М., 1990, 193 с.
- Радев С.* Строители на съвременна България. Т. I. Царуването на кн. Александра, 1879—1886. Т. 2. Регентството. София, 1990.
- Роман в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Сб. науч. тр. / Отв. ред. Ведин А. П. Киев, 1990, 313 с.



ДЗИФФЕР Дж.

РУКОПИСНАЯ ТРАДИЦИЯ ПРОСТРАННОГО ЖИТИЯ КОНСТАНТИНА¹

Пространное «Житие Константина» (ЖК) представляет собой без сомнения наиболее известный памятник Кирилло-Мефодиевского цикла. При этом он является не только литературным произведением высокого уровня, но и важнейшим источником, свидетельствующим о начале славянской культуры. Текст многократно издавался и переводился на разные славянские и неславянские языки — упомянем здесь лишь основные издания Лаврова [1], Гривеца и Томшича [2], Ангелова и Кодова [3]. Им пользовались и продолжают пользоваться многочисленные исследователи, занимающиеся наиболее ранней эпохой славянской письменной культуры. Однако до сегодняшнего дня мы не располагаем ни критическим изданием текста, ни обстоятельной историей его рукописной традиции. Правда, такова судьба не только ЖК, но и ряда других старославянских памятников, но в данном случае пробелы еще больше бросаются в глаза, если вспомнить об огромной библиографии, накопившейся в течение почти полутора веков.

До сих пор нам были известны 54 списка пространного ЖК: 48 списков, учтенных в болгарском издании [3], Барсовский список № 619, который недавно был снова обнаружен в ГИМе [4; 5], и 4 списка, впервые указанных несколько лет назад Св. Николовой — рукописи из собрания Егорова 167, 314 и 1144 и рукопись из собрания Строева 25 (все хранятся в ГБЛ) [6]. Имеется еще один список из Белокриницкой старообрядческой митрополии (БАН, ф. 75, № 13), который ввел в научный оборот Д. Кенанов [7]. В настоящее время можно указать еще 3 новых списка, которые обогащают традицию этого текста: список молдавского происхождения из Национальной университетской библиотеки в Загребе 4586, содержащий только текст ЖК [8]. В. Мошин датировал его XVI или началом XVII в., в то время как есть все основания отнести этот список ко второй половине XVIII — началу XIX в. Второй список — Архангельский Д. 145, представляет собой сборник житий XVI—XVII вв. из Антониево-Сийского монастыря [9]. Третий — Архангельский Д. 236, сборник XVII в. также из Антониево-Сийского монастыря, указание на который содержится в картотеке Никольского и в описи А. Е. Викторова [10].

Таким образом, сейчас нам известно 57 списков ЖК, и отнюдь не исключено, что их число может увеличиться. Так, имеются сведения еще о двух списках, место хранения которых, если они вообще еще существуют, к сожалению, пока неизвестно. Первый список — из Антониево-Сийского монастыря, четырёхминей XVI—XVII вв. за февраль (в картотеке Никольского под № 1035); второй — содержался в февральском томе

Джорджо Дзиффер — ассистент кафедры славянской филологии университета Удине.

¹ Основой статьи послужил доклад, прочитанный в МГУ в мае 1990 г. на заседании, посвященном Дню славянской письменности и культуры.

составленного братьями Денисовыми в начале XVIII в. комплекта четьих-миней, о которых в 1917 г. написал весьма интересную статью Е. В. Барсов [41].

Сосредоточимся теперь на двух взаимосвязанных аспектах изучения рукописной традиции ЖК: во-первых, на соотношении между разными группами так называемого русского извода и, во-вторых, на отношениях между русским и так называемым южнославянским изводом. При этом необходимо подчеркнуть, что наша работа над этими вопросами далеко не закончена и приводимые наблюдения носят лишь предварительный характер.

Уже чешский славист Вл. Клас заметил, что выделенные впервые Ван Вейком три группы списков русского извода (*a*, *b*, *c*) соответствуют рукописям определенного состава [42]. Так, списки группы *a* помещены в составе четьих-миней за октябрь, списки группы *b* находятся в составе четьих-миней за февраль, а списки группы *c* являются или частями сборников или отдельными рукописями. Но в отличие от Класа, считавшего, что группа *c* — это переработка текста группы *b*, нам представляется, что именно ветвь *c* сохранила в ряде случаев самый лучший текст Жития. Это не исключает, конечно, что эта ветвь имеет несколько вторичных чтений; однако, иногда только в ней сохранены правильные чтения, которые нельзя обнаружить в других ветвях так называемого русского извода. Приведем лишь два особенно ярких примера. Это, во-первых, чтение из XIV главы, где речь идет о византийском царе Михаиле III и о его дяде Варде. Мы там читаем: *отвѣща емоу паки царь съ Вардою оуемъ своимъ: аще ты хоцещи ...* В рукописной традиции ЖК такое чтение представлено лишь меньшинством списков. Если Лавров мог указать только на один список², содержащий такое чтение, то мы сегодня располагаем и некоторыми другими списками: например, Барсов 619, Софийский 1455, Егоров 167, Строев 25. В другой подгруппе ветви *c* мы имеем чтение *с Вардою (с) дядю своимъ*, где более точный термин *оуи* — дядя по матери — заменен более поздним словом *дядя*. Это явно упрощает текст, но все-таки не искажает его смысл, как в случае с чтением, встречающимся в группах *a* и *b*: в группе *b* мы читаем преимущественно — *с правдою оужомъ своимъ*, в группе *a* *с правдою и оужомъ своимъ*. К этому последнему разночтению и его происхождению мы обратимся ниже.

Второй пример — из XV главы: здесь говорится о Коцеле, паннонском князе, который принял Константина с его учениками и, как написано в Житии, *възлюбю вельми словеньски буквы*. В русских списках мы находим разные чтения — *паноньскъ* (характерное для большинства списков группы *a*) и *поганьскъ* (типичное для группы *b*). В ветви *c* мы имеем или *понаньскъ* (вместо *паноньскъ*), или *поганьскъ* или еще — и это имеет для нас чрезвычайное значение — *блатеньскыи* (этноним, связанный с названием озера Блатно, ныне Балатон). Это чтение обнаруживается только в той подгруппе ветви *c*, где вместо слова *оуемъ* читалось *дадею* — например, эти списки: Софийский 1288, Ундольский 330, Вяземский Q 10, Никольский 264, Тихонравов 145, а также Софийский 1455, где это чтение присутствует как маргиналия. Без всякого сомнения, надо отдать предпочтение именно такому чтению *блатеньскыи*, явному *lectio difficilior*, которое в других церковнославянских текстах известно только по трактату Храбра, где читаем: ... *коцель княса блатеньска*, с такими разночтениями как *братенска* и *кагниска* [43]. Можно еще добавить весьма интересное свидетельство Слова «О похвале Богородице» Кирилла Философа, недавно исследованного А. А. Туриловым, где в единственном списке З (Музейное собрание 1779) читается этноним *блатани* [44, с. 261].

А чем объяснить такие различия между текстом, вошедшим в состав февральских и октябрьских четьих-миней (мы сейчас не будем останавливаться на остающейся пока открытой проблеме появления ЖК и в ок-

² Ученый указал на список из Общества любителей древней письменности, но в этом фонде в ГПБ такого списка нет. На самом деле, рукопись, на которую ссылался П. А. Лавров, находится в другом фонде П. П. Вяземского (Q 10), собрание рукописей которого до 1934 г. находилось в том же Обществе.

тябрьских четых-минеях), и текстом, включенным в сборники разного состава? Вопрос тесно связан с историей древних агиографическо-гомилетических рукописей, но ввиду недостаточной разработки такой проблематики невозможно пока дать окончательный ответ. Надо полагать, что текст, включенный в состав четых-минея, был уже отягощен разными вторичными чтениями (если не искажениями). Это представляется тем более правдоподобным, если предположить, что включение ЖК в четых-минея осуществилось сравнительно поздно. Для октябрьских четых-минея это уже продемонстрировал в начале века Сперанский [15], для февральских четых-минея можно пока указать на то, что в разных их списках ЖК отсутствует (упомянем здесь Волоколамский 594, Московская Духовная Академия 92.1, Кирилло-Белозерский 18/1257). Следует также добавить, что есть и поздние февральские четых-минея, хранящие текст Жития, близкий к группе *c*, а не *b*: это рукописи Строев 25 и Егоров 167, где, как мы видели, находится правильное чтение *съ Вардою оумъ своимъ*. Безусловно, изучение ЖК внутри славянских четых-минея обещает пролить свет и на их историю.

Переходя ко второму вопросу о так называемом южнославянском изводе, оставим в стороне два самых известных списка Владислава Грамматика, так как они являются явными переделками (см. [16, с. 31]). Конечно, они сами по себе представляют большой интерес, но до сих пор они излишне привлекали внимание исследователей в ущерб другим южнославянским спискам. Кстати, похоже обстоит дело и с русской традицией ЖК: и здесь самый известный список, МДА 19, дает сильно смешанный текст и менее других списков может быть использован в качестве основного текста для сопоставления всех списков.

Было уже замечено разными исследователями, что существует целый ряд чтений, которые сближают так называемый южнославянский извод с той или иной группой русских списков. А как впервые отметил Томпич, эти совпадения охватывают не только древние, но и явно вторичные чтения [2, р. 85—86]. Но поскольку никто впоследствии не углублялся в эту проблематику, сравнительно недавно Б. Н. Флоря писал, что «вопрос о соотношении изводов остается нерешенным» [16, с. 33]. Чтобы приблизиться сегодня к правильному решению этого основного вопроса, представляется необходимым сначала задать другой: существует ли вообще южнославянский извод (если понять этот термин не в чисто лингвистическом, а в филологическом смысле)? Мы не видим оснований для такого утверждения. Действительно, южнославянские списки определяются несколькими им присущими типичными чтениями. Приведем два ярких примера: в XV главе речь идет о латинских и франкских архиереях, которые в Моравии с иереями и учениками своими выступают против Константина. В южнославянских списках мы находим загадочное чтение «латинсци и съпрчестници (в смысле участники), архіереи, іереи, и ученици». В списках групп *a* и *b* мы читаем: «латиньстїи и фржестии архіерѣи съ іерѣи и оученици», а в группе *c*, и только в ней, мы снова обнаруживаем исходное для обоих других вариантов чтение *спроучьстїи*, от греческого слова *σπράγγοι* (вместо *φράγγοι*). Надо добавить, что и внутри группы *c* появляются ввиду малоизвестности этого термина вторичные чтения, как *c прочими оучители* в списке Ундольский 330. Между прочим, и здесь можно упомянуть кроме Проложного Жития Константина и Мефодия, где читается *от спржескихъ епископъ* [17], также Слово «О похвале Богородице», где мы тоже имеем этноним *спроуци* (в смысле франки) [14, с. 256]. Второй пример, который показывает особенность этой ветви традиции, касается церкви Святой Марии, первой церкви в Риме, где Константин и Мефодий пели литургию, над славянскими книгами, как написано в начале XVII главы Жития. В то время как русские списки имеют здесь такие чтения, как *фантъ* (группа *c*), *фань* (группа *a*) и *фантъ* (группа *b*) — от греческого слова *ἡ φάνη* ясли — все южнославянские списки имеют здесь неправильное чтение *фотида*.

Однако большее значение приобретают другие чтения, которые сближают южнославянскую традицию с частью русских списков, а именно

с группами *a* и *b*. Их довольно много. Приведем два примера. Если вернуться к уже известному чтению, где говорится о византийском царе и о дяде его Варде, то в южнославянских списках мы находим *съ Вардою и оумомъ своимъ*. Кстати, подобное чтение мы находим и в хорватских глаголических фрагментах (*с Вардою оумомъ своимъ*). Если вспомнить о чтении групп *a* и *b* (*съ правдою (и) оумомъ своимъ*), нетрудно будет заметить в чтении глаголических фрагментов и южнославянских списков промежуточное звено между правильным чтением части группы *c* (*съ Вардою оумомъ своимъ*) и чтениями групп *a* и *b*. Более того, представляется вероятным, что такое чтение как — *с Вардою оумомъ своим* — передает чтение, находившееся в субархетипе, к которому восходят и южнославянские списки, и группы *a* и *b*, и хорватские фрагменты [18]. Другое чтение, которое тоже явным образом сближает южнославянскую традицию и русские списки *a* и *b* и которое подтверждает предположение об общем происхождении этой части традиции ЖК, находится в начале XV главы. Здесь речь идет о том, как Константин, приехав в Моравию и переведя весь церковный чин, учит новых славянских учеников разным частям церковной службы. Это значит утрене, и часам, и обедне, и вечерне, и повечерию, и тайной молитве. А вот упоминание обедни мы находим снова исключительно в группе *c*, тогда как во всех остальных списках, как в группах *a* и *b*, так и в южнославянских и в хорватских фрагментах оно отсутствует.

Итак, среди русских списков пространныго ЖК особое положение занимают списки группы *c* (в основном, это списки, включенные в сборники разного состава), которая дает нам в ряде случаев самый правильный текст, и — что может быть еще важнее! — отдельного южнославянского извода не существует, поскольку традиция ЖК единственная. Надо полагать, что текст Жития, который в древние времена бытовал на Балканах, после перехода в восточнославянский ареал там исчез, и что все сохранившиеся южнославянские списки, как и хорватские фрагменты, восходят не к тому древнему этапу традиции Жития, но к более позднему, уже тесно связанному с восточнославянским ареалом [19]. Дальнейшие исследования, в первую очередь полное сопоставление всех списков Жития, должны подтвердить или опровергнуть эти выводы, но материал, накопленный и изученный к настоящему моменту, позволяет предположить, что соотношения между списками пространныго ЖК именно таковы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Лавров П. А.* Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930, с. 1—66.
2. *Grives F., Tomšic F.* Constantinus et Methodius Thessalonicenses. Fontes. Zagreb, 1960, p. 95—143.
3. *Ангелов Б. Ст., Кодов Хр.* Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 3. София, 1973, с. 89—109.
4. *Левочкин И. В.* Древнейший список Пространныго Жития Константина Философа. — Советское славяноведение, 1983, № 2, с. 75—79.
5. Жития Кирилла и Мефодия. Москва — София, 1986, с. 131—180.
6. *Николова С.* Проблемът за пълното издание на кирило-методиевските извори. — Кирило-Методиевски студии. Т. 3. 1986, с. 14.
7. *Кенанов Д.* Белокриницки сборник от XVI в. с житието и похвалното слово за Константин-Кирил Философ. — Кирило-Методиевски студии. Т. 4, 1987, с. 65—69.
8. *Mošin V.* Cirilski rukopisi i pisma Nacionalne sveučilišne biblioteke u Zagrebu. — Radovi Staroslovenskog Instituta, № 5, 1964, s. 201—202.
9. Описание рукописного отдела БАН СССР, т. 8, вып. 1: Рукописи Архангельского собрания. Сост. А. А. Амосов, Л. Б. Белова, М. В. Кукушкина. Л., 1989, с. 182—184.
10. *Викторов А. Е.* Описи рукописных собраний в книгохранилищах северной России. СПб., 1890, с. 110.
11. *Барсова Е. В.* Четги Миней братьев Денисовых. — Сборник статей в честь Матвея Кузьмича Любавского. Пг., 1917, с. 693.
12. *Kyas V.* Charvátskohlaholské texty Zivota Konstantina. — Slavica, № 35, 1966, с. 551—552.
13. *Черноризец Храбър.* О писменехъ. Критическо издание, изг. А. Джамбелуга — Коссова. София, 1980, с. 142.

14. *Турилов А. А.* К истории великоморавского наследия в литературах южных и восточных славян (Слово «О похвале Богородице» Кирилла Философа в рукописной традиции XV — XVII вв.).— В кн.: Великая Моравия: ее историческое и культурное значение. М., 1985, с. 261.
15. *Сперанский М. Н.* Октябрьская Минея четья до-макарьевского состава.— Известия ОРЯС, т. 6, 1901, вып. 1, с. 81.
16. *Флоря Б. Н.* Рукописная традиция памятников Кирилло-Мефодиевского цикла (Итоги и задачи изучения).— В кн.: Жития Кирилла и Мефодия. Москва — София, 1986.
17. *Лагров П. С.* (sic). Вариант в передаче имени francus в грекославянских памятниках.— Записки Неофилологического общества, № 8, 1915, с. 332—338.
18. *Radovich N.* Le pericopi glagolitiche della Vita Constantini e la tradizione manoscritta cirillica. Napoli, 1969, p. 103—111.
19. *Miklas H.* Kyrillomethodianisches und nachkyrillomethodianisches Erbe im ersten ostslavischen Einfluss auf die südslavische Literatur.— Symposium Methodianum. Beiträge der Internationalen Tagung in Regensburg (17. bis 24. April 1985) zum Gedenken an den 1100. Todestag des hl. Method. Hrsg. von K. Trost, E. Völkl, E. Wedel. Neuried, 1988, S. 455.

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЛАВИСТА

Славяноведение и балканистика в отечественной и зарубежной историографии: Сб. ст. М., 1990, 359 с.

Тананаева Л. И. Карел Шкрета: Из истории чеш. живописи эпохи барокко. М., 1990, 223 с., ил. Указ. имен.

Харалампиев И. Езикът и езиковата реформа на Евтимий Търновски. София, 1990, 157 с.

Шевелева М. Н. Старославянский язык: Метод. указания для студентов филол. фак. гос. ун-тов. М., 1990, 80 с.

Этимологический словарь славянских языков: Праславян. лекс. фонд / По ред. Трубачева О. Н., Вып. 17. М., 1990.



ГЕРД А. С.

К РЕКОНСТРУКЦИИ ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Церковнославянский язык конца XIV—XVII вв. как единый в целом литературный язык функционировал в реальных текстах не в виде застывшего канона слов и форм, а в сложном единстве многообразного варьирования текстов, в котором, по-видимому, вполне могут быть выделены ядро и периферия такой вариативности.

В литературе уже отмечалась необходимость тщательного изучения языка основных локальных центров древнеславянской письменности (см. [1; 2; 3]). И с этой точки зрения особый интерес представляет обращение к языку памятников Тырновской школы в Болгарии.

Несмотря на большое количество книг и статей, посвященных Тырновской литературной школе в Болгарии (см., например, регулярные библиографические обзоры в журнале «Български език»), собственно лингвистических работ среди них совсем немного (ср. также [4]). В то же время воссоздание морфологических моделей церковнославянского языка XIV—XVI веков во всем многообразии его локальных вариантов имеет широкое филологическое значение для оценки общего и различного в древнеславянской культуре эпохи позднего средневековья в целом.

В ряде предыдущих публикаций мы отмечали, что для эпохи славянского средневековья выделяются два основных общих типа текстов: 1) тип деловых и летописно-хроникальных текстов; 2) тип конфессиональных и конфессионально-повествовательных текстов. В пределах второго типа одной из главных разновидностей является тип южновосточнославянских текстов (см. [5]). Там же подчеркивалась не только необходимость, но и возможность выделения в качестве основы для последующих сравнений и сопоставлений эталонной модели церковнославянских текстов конца XIV—XVI веков. Во многих отношениях в качестве такого эталона условно мог бы быть принят язык конфессионально-повествовательных текстов, созданных в Тырново и выходцами из Тырновской школы (см. также [6; 7; 8]).

В этих статьях необходимость разработки такого эталона обосновывалась статистически; ниже этот вопрос рассматривается на чисто лингвистическом уровне, по данным словообразования.

Привлечение в последствии аналогичных по жанру текстов из Валахии, Острога, Словении или Пскова позволит более ярко увидеть основные тенденции развития вариативных форм и подсистем церковнославянского языка. Конечно, строго теоретически язык Тырновской школы, в свою очередь, также представляет собой один из вариантов общей инвариантной формы церковнославянского языка, но все же вариант, наиболее близкий к гипотетическому инварианту.

Герд Александр Сергеевич — д-р филол. наук, профессор ЛГУ, заведующий Словарным отделом Института языкознания.

И здесь наиболее надежным источником для сопоставлений служат славянские конфессионально-повествовательные тексты, ибо только они являются доминирующим по степени сохранности и по распространенности жанром на протяжении всех веков во всех центрах древнеславянской письменности.

Настоящая статья построена на основе полной выборки всех производных существительных из болгарских памятников конца XIV—XVI вв., указанных ниже (см. список источников). Материал располагается по способам словообразования. При этом сначала следует суффиксальный способ, затем нулевая суффиксация, префиксальный способ; внутри способов — по типам производящих основ. При суффиксальном способе сначала приводятся отглагольные, а затем отыменные образования. Для остальных способов порядок определяется количеством материала. При каждой общей основе лексико-грамматические группы также располагаются по степени наличия материала. В каждой группе сначала указывается общая модель, а затем ее вариант(ы).

Суффиксы при основе приводятся по алфавиту. Сначала в общем алфавите приводится материал на основной морф и указанные сразу после него в круглых скобках его основные фонетические варианты, например, ни-е, (н)ј-е, н-е), затем по алфавиту морфов — все другие морфы и их варианты, приведенные вслед за основным, первым морфом.

Внутри каждого основного морфа в тех случаях, когда в финали основы представлены только суффиксы, сначала приводятся все варианты с учетом алфавита этих суффиксов и их алломорфов в финали основы (а, ва, ова). При этом варианты суффиксов указываются при общей модели. Если в основе представлены и суффиксы и приставки, приводятся все варианты прежде всего с учетом алфавита приставок и уже во вторую очередь по алфавиту связанных с ними суффиксов. Интерфиксы заключаются в круглые скобки. Учитывая обилие фонетических и графических вариантов суффиксов и приставок в источниках, ниже написание тех морфов, которые были и в старославянском языке при основной модели, реконструируется в их старославянской форме с учетом фонетического облика морфа. При варианте модели сохраняются написание морфа (морфов), отмеченные в источнике. Везде сначала приводится основная модель, а далее после точки ее варианты, в том числе и совпадающий по форме с этой моделью или с ее старославянской формой. Если основная модель представлена всего лишь одним вариантом, полностью совпадающим с ней по написанию, то вариант отдельно не указывается. Примеры приводятся при варианте после знака «двоеточие» (:). Фонетические и морфонологические изменения, закономерные для истории языка, не комментируются.

Варианты, представленные в составе основы только корневой основой и только приставкой и словообразующим аффиксом, помещаются в самом конце после примеров на основной морф. В целях сокращения после примера указания на листы и названия источника не даются. Флексия отделяется от суффикса знаком дефис. Значения слов приводятся в тех случаях, когда они не выводимы из внутренней формы слова или если они не соответствуют значению этого слова в данном современном литературном языке.

В разделе о нулевой суффиксации от основы глагола материал располагается по алфавиту слов, при префиксальном способе — по алфавиту приставок в рамках общей модели. Префиксально-суффиксальный способ и сложение в статье не рассматриваются.

Суффиксальный способ

Образования от основ глаголов

Названия отвлеченных понятий. V + в-а, V_{s(a)} + в-а: дрѣжава; V + + ежь: мятежь. V + знь. V + знь: жизнь; V_{s(a)} + знь: боязь; приязнь. V + изн-а. V_{p(y)} + изн-а: укоризна: V + и-е. V_{p(на)} + и-е: наслѣдие;

$V_{p(при)}$ + и-е: причастие; $V_{p(раз)}$ + и-е: разгласие, различие; $V_{p(сѣ)}$ + и-е: съгласие; V + ищ-е (овищ-е). $V_{p(сѣ)}$ + овищ-е: съкровище; V + л-о. $V_{s(и)}$ + л-о: правило; $V_{p(за)}$ + л-о: начало. V + н-а. $V_{s(и)}$ + н-а: таина. V + ни-е (нѣ-е, н-е); ани-е, анѣ-е (ан-е); ени-е (ен-е, овени-е). $V_{s(а)}$ + ни-е; вѣщание, гадание, дѣianie, желание, кричание, лаianie, лѣгание, страдание, тѣkanie, удрѣжание, хлипание, шеперание. $V_{s(ик, а)}$ + ни-е: величание; $V_{s(л, а)}$ + ни-е: дѣлание; $V_{p(вѣ), s(а)}$ + ни-е: вѣметание, вѣни-мание; $V_{p(вѣз), s(а)}$ + ни-е: вѣздаяние, вѣздрѣжание, вѣздѣхание, вѣздѣгание; $V_{p(вѣз, про, по), s(а)}$ + ни-е: вѣзпроповѣдание; $V_{p(до), s(а)}$ + ни-е: достояние; $V_{p(из), s(а)}$ + ни-е: закляние; $V_{p(из), s(а)}$ + ни-е: исповѣдание; $V_{p(из), s(и, а)}$ + ни-е: излиание; $V_{p(на), s(а)}$ + ни-е: наказание, насыпание, начинание; $V_{p(об, сѣ), s(а)}$ + ни-е: обрѣзание; $V_{p(от, отъ), s(а)}$ + ни-е: отѣгание, отѣлагание; $V_{p(по), s(а)}$ + ни-е: повивание, покаяние, показание, поругание; $V_{p(при), s(а)}$ + ни-е: прилежание; $V_{p(про), s(а)}$ + ни-е: прозвание, прочитание; $V_{p(прѣ), s(а)}$ + ни-е: прѣпитание, прѣслушание; $V_{p(прѣ, не), s(а)}$ + ни-е: прѣнемагание; $V_{p(прѣд), s(а)}$ + ни-е: прѣдстояние; $V_{p(раз), s(а)}$ + ни-е: раздрание, раскаяние; $V_{p(с, сѣ), s(а)}$ + ни-е: окончание, сѣдѣние, сѣписание; $V_{p(при), s(на)}$ + ни-е: прибывание; $V_{p(прѣ), s(ва)}$ + ни-е: прѣбывание; $V_{p(сѣ, прѣ), s(ва)}$ + ни-е: сѣпрѣбывание; $V_{s(ова)}$ + ни-е: бѣсование, мидование, мудрование, хробрание; $V_{s(ен, ова)}$ + ни-е: имепование; $V_{p(не), s(ова)}$ + ни-е: пегодование, неистование; $V_{p(об), s(ова)}$ + ни-е: обрадование; $V_{p(по), s(ова)}$ + ни-е: послѣдование; $V_{p(прѣ), s(ова)}$ + ни-е: прѣрѣкование; $V_{p(сѣ), s(ова)}$ + ни-е: сѣрѣзование; $V_{s(ѣ)}$ + ни-е: бѣдѣние, вѣлѣние, вѣдѣние, зрѣние, тлѣние, трѣпѣние, хотѣние; $V_{p(за), s(ѣ)}$ + ни-е: заколение; $V_{p(не, до), s(ѣ)}$ + ен-е: недоумѣние; $V_{p(по), s(ѣ)}$ + ни-е: повелѣние; $V_{p(при), s(ѣ)}$ + ни-е: привидѣние; $V_{p(про), s(ѣ)}$ + ни-е: прозрѣние. $V_{p(раз), s(ѣ)}$ + ни-е: разумѣние, рассмотрѣние; V + ени-е: блюение, борение, гонение, грабление, доение, лишение, моление, томление, хождение; $V_{s(ну, ова)}$ + ени-е: дрѣзновение; $V_{p(вѣ, вѣ)}$ + ени-е: вѣображение, вѣселение, вѣплѣщение; $V_{p(вѣз)}$ + ени-е: вѣзложение, вѣздвижение, вѣзношение, вѣсхождение; $V_{p(до)}$ + ени-е: досаждение; $V_{p(за)}$ + ени-е: заблуждение, заколение, запаление, заточение; $V_{p(из)}$ + ени-е: избавление, извѣщение, исплѣнение, исправление, исцѣление; $V_{p(на)}$ + ени-е: наведение, население; $V_{p(о)}$ + ени-е: озлобление, освящение, оскудѣние, осуждение; $V_{p(об, сѣ)}$ + ени-е: обличение, обновление; $V_{p(от, отъ)}$ + ени-е: отмщение, отѣхождение; $V_{p(по)}$ + ени-е: погашение, погубление, поклонение, покорение, положение; $V_{p(при)}$ + ени-е: приобрѣтение, приходение; $V_{p(про)}$ + ени-е: провождение, прокажение, промышление, прохождение, прощение; $V_{p(про, из)}$ + ени-е: произволение; $V_{p(про, у)}$ + ени-е: проувѣдѣние; $V_{p(прѣ)}$ + ени-е: прѣложение, прѣмѣнение, прѣнесение, прѣображение, прѣселение; $V_{p(прѣ, у)}$ + ени-е: прѣфумножение; $V_{p(прѣд)}$ + ени-е: прѣдложение; $V_{p(раз)}$ + ени-е: развращение, разлучение, разумѣние, распадение, расуждение; $V_{p(сѣ, вѣ)}$ + ени-е: сѣвѣкупление; $V_{p(с, сѣ, с)}$ + ени-е: сложение, спасение, сѣгрѣшение, сѣтчение; $V_{p(у)}$ + ени-е: увѣрение, удаление, удивление, украшение, умиление, утѣшение; $V_{s(ну)}$ + овени-е, дрѣзновение; $V_{p(при), s(ну)}$ + овени-е: прикосновение; $V_{p(у), s(и)}$ + овени-е: усѣкновение; $V_{p(вѣ)}$ + овени-е: вѣлѣхновение; V + нѣкъ. $V_{p(о), s(а)}$ + нѣкъ: останѣкъ; V + остѣ: радость; V + тв-а. V + тв-а: клятвa, клетвa; $V_{s(и)}$ + тв-а: ловитвa, молитвa; V + ти-е. V + ти-е: бытие, житие; $V_{p(при)}$ + ти-е: прѣятие; $V_{p(про)}$ + ти-е: проклетие. V + тѣкъ. $V_{p(при)}$ + тѣкъ: прѣбытѣкъ 'выгода'. V + ѣб-а (ба). V + ѣб-а: алчба, борба, лѣчба, молба, стрѣлба. V + ѣникъ (никъ, никъ, ник). $V_{p(из)}$ + ник: источѣникъ. V + ѣстви-е (естви-е). V + естви-е: шествие; $V_{p(при)}$ + естви-е: прѣшествие. V + ѣств-о. V + ѣств-о: дивѣство, дѣйство, рождѣство; $V_{p(о)}$ + ств-о: опасство; $V_{p(прѣ)}$ + ств-о: прѣзорство; $V_{p(у)}$ + ѣств-о: убийство. V + ѣль. $V_{p(при)}$ + ѣль: прѣобрѣтѣль 'польза, выгода'.

Название лиц и живых существ. V + ачѣ: ковачѣ. V + еникъ (еникъ, еникъ): мученик, мученикъ, мученикъ. V + ениц-а: мученица. V + л-о. $V_{s(и)}$ + л-о: хранило 'тот, кто охраняет кого-н.' V + тель. $V_{s(а)}$ + тель:

дѣлатель, слышатель; $V_{p(на), s(a)} + \text{тель}$: наказатель, настоятель. $V_{p(об), s(a)} + \text{тель}$: обуздатель; $V_{p(по), s(a)} + \text{тель}$: послушатель; $V_{p(под), s(a)} + \text{тель}$: подражатель; $V_{p(про), s(a)} + \text{тель}$: прорицатель; $V_{p(про, по), s(a)} + \text{тель}$: проповѣдатель; $V_{p(прѣ), s(a)} + \text{тель}$: прѣпитатель 'хранитель'; $V_{p(прѣд), s(a)} + \text{тель}$: прѣдстатель; $V_{p(сѣ), s(a)} + \text{тель}$: сѣздатель; $V_{p(y), s(a)} + \text{тель}$: усѣкатель 'палач'; $V_{s(и)} + \text{тель}$: блазнитель, боритель, губитель, зиждитель, крѣмитель, рачитель, рѣвнитель, явитель; $V_{p(до), s(a)} + \text{тель}$: досадитель; $V_{p(из), s(и)} + \text{тель}$: населитель 'сеятель'; $V_{p(об), s(и)} + \text{тель}$: обличитель; $V_{p(по), s(и)} + \text{тель}$: побѣдитель, погаситель; $V_{p(про), s(и)} + \text{тель}$: прогонитель, просвѣтитель, промыслитель; $V_{p(раз), s(и)} + \text{тель}$: раздрушитель; $V_{p(с), s(и)} + \text{тель}$: спаситель; $V_{p(y), s(и)} + \text{тель}$: угѣшитель, уяснитель; $V_{p(сѣ), s(ѣ)}$ + тель: свѣдѣтель; $V + \text{тельниц-а}$. $V_{s(и)} + \text{тельниц-а}$: хранительница. $V + \text{тырь}$: пастырь. $V + \text{хѣ}$. $V_{s(и)} + \text{хѣ}$: женихъ. $V + \text{ык-а}$: владыка. $V + \text{ыникъ}$ (никъ, никъ, льникъ). $V + \text{никъ}$: хыщникъ; $V_{p(за)} + \text{никъ}$: заступник; $V_{p(на)} + \text{никъ}$: наслѣдник, наставник; $V_{p(об)} + \text{никъ}$: обручник; $V_{p(по)} + \text{никъ}$: поборьник, посланик; $V_{p(про, по)} + \text{никъ}$: проповѣдникъ; $V_{p(прѣ)} + \text{никъ}$: прѣемникъ; $V_{p(сѣ)} + \text{никъ}$: сѣгласникъ; $V_{p(y)} + \text{никъ}$: угодник. $V + \text{льник}$. $V_{s(и)} + \text{льникъ}$: свѣтильникъ ('перен. о боге'). $V + \text{ыниц-а}$ (ниц-а). $V + \text{ниц-а}$: заступница¹; $V_{p(на)} + \text{ниц-а}$: наслѣдница, наставница; $V_{p(по)} + \text{ниц-а}$: пособница; $V_{p(y)} + \text{ниц-а}$, угодница. $V + \text{ьць}$ (ецъ, ец). $V + \text{ьць}$: давец 'тот, кто дает что-то', ловець, льстьць, пѣвецъ, творецъ; $V_{p(при)} + \text{ельць}$: пришельць. $V_{p(про)} + \text{ьць}$: провѣдецъ; $V + \text{льць}$. $V_{s(a)} + \text{льць}$: страдалецъ.

Названия предметов. $V + \text{в-о}$. $V_{s(и)} + \text{в-о}$: пиво, сочиво. $V + \text{и-е}$: былие тревное 'растение'. $V + \text{д-о}$. $V_{s(a)} + \text{ло}$: жало; $V_{p(по), s(ва)} + \text{л-о}$: покрывало. $V + \text{ыниц-а}$ (льниц-а). $V_{p(y), s(ва)} + \text{льниц-а}$: умывальница. $V + \text{ни-е}$. $V_{p(o), s(a)} + \text{ни-е}$: одѣяние. $V + \text{ти-е}$. $V + \text{ти-е}$: питье. $V + \text{тъкъ}$ (тъкъ-ь). $V + \text{тъкъ}$. $V_{p(c), s(и)} + \text{тъкъ}$: свитькъ.

Названия мест и пространственныхъ понятий. $V + \text{ени-е}$: селение. $V + \text{ищ-е}$ (лиц-е). $V + \text{ищ-е}$: требище. $V + \text{лице}$: жилище. $V_{s(a)} + \text{лиц-е}$: виталище, сѣдалище; $V_{p(по), s(a)} + \text{лиц-е}$: послушалище; $V_{s(и)} + \text{лиц-е}$: хранилище, чѣтилище; $V_{p(при), s(и)} + \text{лиц-е}$: приетилище; $V_{p(при)} + \text{ищ-е}$: прибѣжище; $V_{p(сѣ)} + \text{ищ-е}$, сѣборище. $V + \text{ѣль}$. $V + \text{ѣль}$: купѣль; $V_{p(o)} + \text{ѣль}$: обитѣль.

Модели со значением собирательности

Названия лиц и группъ лиц. $V + \text{ни-е}$ (ени-е). $V_{p(o)} + \text{ени-е}$: опльчение 'воинство'. $V + \text{тв-а}$: паства.

Образования от основ имен существительныхъ

Названия лиц и живыхъ существъ. $N + \text{анинъ}$ (ианинъ, ѣнинъ): агарѣнинъ, гражданинъ, египтъѣнинъ, назарѣнинъ, фракианинъ. $N + \text{арь}$: златарь. $N + \text{икъ}$. $N_{s(ин)} + \text{икъ}$: таиникъ 'тайнослужитель'. $N + \text{инъ}$: блѣгаринъ, боляринъ, воинъ, елинъ, турчинъ. $N + \text{ин-я}$: инокиня, рабыня. $N + \text{иц-а}$ (овиц-а). $N + \text{иц-а}$: агница, вдовица, голувица, дѣвица, царица; $N_{s(ьик)} + \text{иц-а}$: владычица; $N + \text{овица}$: отроковица, ластовица 'ласточка'. $N + \text{ыникъ}$ (никъ, никъ, овьникъ). $N + \text{ыникъ}$: блудникъ, грѣшникъ, корабникъ, стлѣпникъ, стражникъ, узникъ; $N_{s(ьць)} + \text{никъ}$: вѣнечникъ 'тот, кто увенчанъ'; $N_{p(изъ, по)} + \text{никъ}$: исповѣдникъ; $N_{p(на)} + \text{ыникъ}$: навѣтъникъ; $N_{p(не, на)} + \text{никъ}$: ненавистникъ; $N_{p(по)} + \text{никъ}$: поклонникъ, похвалникъ; $N_{p(при)} + \text{никъ}$: причастникъ; $N_{p(про, по)} + \text{никъ}$: проповѣдникъ; $N_{p(прѣ)} + \text{никъ}$: прѣльстникъ; $N_{p(раз)} + \text{никъ}$: разбойникъ; $N_{p(сѣ)} + \text{ыникъ}$: сѣвѣтъникъ; $N + \text{ыниц-а}$ (ниц-а): съпружница. $N_{s(и, тель)} + \text{ыниц-а}$ (ниц-а): рачительница, хранительница; $N_{p(o), s(и, тел)} + \text{иц-а}$: окрѣмительница; $N_{p(об), s(тель)} + \text{иц-а}$:

¹ Примеры с суффиксомъ ѣниц-а при наличии соотносительного слова м. р. можно рассматривать как случаи мены суффиксовъ.

обличительница; $N_{p(по), s(тель)}$ + ниц-а: подательница. N + ьць (ець, ец). N + ьць (ець, ец): агнецъ, телец. N + ьц-е (ц-е). N + ц-е: чадце 'ребенок'.

Названия предметов. N + ени-е: знамение. N + изн-а: главизна 'венец'. N + ин-а: хлѣвина, храмина. N + иц-а: лѣствица 'лестница', плетница 'веревки, цепи'. N + ькъ (утокъ): шипъкъ; N + уток: сланутъкъ. N + ын-и. $N_{s(ость)}$ + ын-и: милостыни. N + ьница (ниц-а): гробница, житница, ложница 'ложе', колесница, ножница, свѣшница. N + ьц-е: оконыце, N + ьць: вѣньць, градъць, съсець.

Названия отвлеченных понятий. N + и-е. $N_{s(ьств)}$ + и-е: величъствие, царъствие. N + ин-а: коньчина. N + иц-а: огница 'болезнь'. N + ни-е (ствование). N + ствовани-е: суботствование. N + ость: дѣнность. N + от-а: работа. N + ьство. N + ьств-о (ств-о): буйство, бѣгъство, дѣвство, мужство, отъчество 'родина'. $N_{s(атай)}$ + ств-о: ходатайство; $N_{s(еник)}$ + ьств-о: мученичество; $N_{s(и, тел)}$ + ств-о: губительство, мучительство; $N_{s(ин)}$ + ьств-о: таинство; $N_{s(ин-я)}$ + ьств-о: пустыньство; $N_{p(прѣд), s(а, тель)}$ + ств-о: прѣдстательство; $N_{p(с), s(ѣ, тель)}$ + ств-о: свидѣтельство.

Названия мест и пространственных понятий. N + ин-а: пучина. N + ищ-е (лиц-е). N + ищ-е: судище, сънмище, трѣжище; $N_{s(ѣль)}$ + ище: обитѣлице; $N_{p(по)}$ + ищ-е: позорище. $N_{p(рот), s(ань)}$ + ищ-е: пристанище; N + лиц-е: узилице 'затвор': N + ьница (ниц-а). N + ьниц-а: житьница. N + (j) — ц-а: келица, с оттенком уменьшительности. N + ьць (ець), N + ець: кръстець 'место, перекресток'. $N_{p(о), s(ѣль)}$ + ище: обитѣлице.

Модели со значением собирательности

Названия лиц и групп лиц: N + и-а: братия. N + и-е. N + и-е: звѣрие, людие, мужие, группие. $N_{s(а, в)}$ + и-е: дръжавие; $N_{s(и, тел)}$ + родителie. N + ин-а: дружина. N + ьств-о (ств-о). N + ьств-о (ств-о): братство, еллинство, мужство; $N_{s(ин)}$ + ьств-о: воинство; $N_{s(тель)}$ + ьств-о: жительство, учительство; $N_{s(ѣник)}$ + ьство-о: постыничство.

Названия предметов: N + и-е. N + и-е: былие 'растения', гвоздие, камение, корение, овощи, трѣние, углие; $N_{s(тв)}$ + и-е: листовие.

Образования от основ имен прилагательных

Названия отвлеченных понятий. A + и-е. A + и-е: веселие, здравие; $A_{s(ств)}$ + и-е: лукавство. A + ин-а. A + ин-а: быстрина, истина, тишина; $A_{s(н)}$ + ин-а: стръмнина. A + ость. A + ость: благость, бодрость, бѣлость, гнилость, грѣдость, дебелость, хитрость. $A_{s(н)}$ + ость: свѣтлость; $A_{s(ѣк, к)}$ + ость: тѣнъкость. A + от-а. A + от-а: высота, длъгота, доброта, щедрота. $A_{s(и)}$ + от-а: тѣснота. A + ын-я: грѣдыня. A + ьб-а (об-а). A + об-а: злоба. A + ьд-а: правьда. A + ьм-о. A + м-о: бѣлмо. A + ьстви-е. A + ьстви-е: лукавство, свѣрѣство; $A_{s(ин)}$ + ств-о: достоинство; $A_{s(ен)}$ + ьство-о: блаженство; $A_{s(ѣк, ок)}$ + ьство: жесточество; $A_{(ѣн)}$ + ьство-о: празднство; $A_{p(не), s(ов)}$ + ьств-о: неистовство; $A_{p(но)}$ + ьств-о: пространство. A + енств-о: младенство.

Названия лиц и живых существ. A + (никъ, ѣникъ). $A_{s(ѣн)}$ + икъ: храборникъ; $A_{p(но), s(н)}$ + икъ: подобникъ. A + иц-а: старица, юница. A + ост-а: староста. A + ош-а: юноша. A + ькъ. A + окъ: инокъ; $A_{(ен)}$ + ѣникъ: блаженъникъ. A + ьць (енець): старецъ, хитръць, юньць. A + енець: младенець.

Названия предметов. A + иц-а. A + иц-а: горчица; $A_{(ен)}$ + иц-а: багрѣница.

Названия мест. A + иц-а. $A_{(н)}$ + иц-а: горница, тѣмница. A + ын-я, (ын-и): пустыни, пустыня.

Образования от основ числительных

N_m + иц-а: седмица, троица. N_m + ѣньць: прѣвѣньць 'кто-что-нибудь первое по времени появления'.

Нулевая суффиксация от основ глаголов

Названия отвлеченных понятий. въсход, зависть, навѣтъ, повѣсть, подпоръ.

Префиксальный способ

Названия отвлеченных понятий. Не + N²: небытие, невидѣние, неглаголение, недвижение, недѣйствие, нѣмотование, неполучение, неглѣние; прѣ + N: прѣмудрость.

Названия лиц. Съ (съ) + N. Съ + N: съдръжатель, съжитель, съслужитель, съпричастникъ.

Специфика славянского словообразования в целом проявляется не столько на уровне способов, общих моделей и суффиксов, сколько в вариативности этих моделей, в валентности основ и морфем, в характере производящих основ. И здесь следует отметить, что болгарские церковно-славянские тексты XIV—XVI вв. даже на уровне вариантов моделей отличает почти полное отсутствие более поздних народно-разговорных вкраплений.

Таким образом, в аспекте синхронно-филологического изучения языка локальных центров эпохи славянского средневековья морфологическая система Тырновской школы, заключая в себе минимальное число народно-разговорных элементов, именно по признаку их отсутствия значима как эталон стандартности и литературности церковнославянского языка конца XIV—XVI вв. в его наиболее «чистом» виде. Чисто лингвистическая реконструкция такого эталона на всех уровнях языка имела бы впоследствии исключительное значение для решения многих вопросов истории и эволюции славянских литературных языков (см. [7]).

Так, например, аналогичный анализ словообразования конфессиональных памятников, созданных в XVI в. в Хорватии и Словении, а также в Пскове и Остроге показал, что и те и другие тексты отличает уже именно широкое вторжение народно-разговорных элементов (см. [9; 10]). Например, в западнославянских текстах из Хорватии, Словении под влиянием народно-разговорного языка в образованиях от основ глаголов в названиях отвлеченных понятий суффикс *ни-е* нередко выступает в форме *нј-е* (чуванье, владенье), активизируются варианты $V_{s(ова)} + \text{ни-е}$ (*нј-е*), например, гостевание, дугованье. $V + \text{ъкъ}$ (тъкъ) (житак, зачетак), $V + \text{ъня}$ (змутня, прошня). Последняя модель, например, в текстах из Тырново не представлена. В группах слов, обозначающих лица, особую продуктивность получают модели и варианты $V + \text{ваць}$ (владаваць, делаваць), $V + \text{ькъ}$ (свѣдокъ), $V + \text{ьца}$ (плавца).

В образованиях от основ имен существительных в названиях лиц растет продуктивность моделей $N + \text{ак}$ (рояк), $N + \text{ушь}$ (плебанушь), $N + \text{ца}$ (*це*) (дитца); в названиях предметов — $N + \text{ик}$ (камик), $N + \text{ьва}$ (хрушва); в названиях отвлеченных понятий $N + \text{ькъ}$ (ак) (доходак), $N + \text{ьк-а}$ (сѣнка), моделей с собирательным значением $N + \text{овин-а}$ (трговина), $N + \text{овщин-а}$ (братовщина), $N + \text{иц-а}$ (главица), $N + \text{щин-а}$ (господщина); в образованиях от основ имен прилагательных, обозначающих отвлеченные понятия — моделей и вариантов $A + \text{иц-а}$ (*ича*) (кривица, правица, правича); в названиях лиц — $A + \text{ик}$ (ближик).

На уровне морфов локальный характер текстов из Хорватии, Словении проявляется как в наличии некоторых преимущественно южнославянских морфов (*ушь*, *ца*, *це*), (*н*)*яв-а*), так и в устойчивом употреблении типичных западнославянских форм старых аффиксов, как *ак* (*ъкъ*), *ац* (*ьць*), *ваць* (*вьць*), в частом написании исконе старославянских аффиксов без знаков *ь* и *ъ* (*ба*, *ник*, *ств-о*).

Локальный характер словообразования ярко проявляется и в том, что на основе общих церковнославянских по сфере употребления морфем путем новых их сочетаний в языке образовано немало новых чисто западно-

² Ниже состав производящего имени не учитывается.

южнославянских лексем (преговоране, наручение, живление, ускришение, наредба, малинаръ, псица, дитца, хрушва, кривица, ближик). Наконец, по сравнению с русскими, болгарскими и даже сербскими текстами памятники из Хорватии, Словении XVI в. выделяются большим числом производных, образованных от народных лексических основ (баратание, поманканье, уфание, броене, мащенье, скушнява, хинба, хижня, хинача, шкрабица, мештрия, хинбенность, опранье).

Весьма своеобразны отличия и псковских памятников. Так, только в псковских конфессионально-повествовательных текстах отмечены модели в названиях лиц: V + ух-а, N + ичь, N + овичь, N + ан, N + итинь, N + (ч) анинь, N + ък-а, N + енк-а; в названиях отвлеченных понятий — V + к-и, V + ень; в названиях предметов — V + ък-а, N + енк-а, N + ък-а, N + окь.

Особо продуктивны суффиксы ък-а, енк-а, ух-а, ичь, овичь, итинь, чанинь (см. [9]).

Таким образом, именно наличие некоего эталона для сравнения позволяет нам лучше увидеть все богатство локального варьирования церковнославянского языка XIV—XVI вв.

С П И С О К И С Т О Ч Н И К О В

Тырновский Е. Житие Илариона Мегленского.— In: Kalužniacki E. Werke des Patriarchen von bulgarien Enthymius. Wien, 1901; ³

Тырновский Е. Житие Иоанна Рильского.

Тырновский Е. Житие Параскевы (Петки).

Тырновский Е. Житие Филатеи.

Тырновский Е. Похвальное слово Иоанну.

Тырновский Е. Похвальное слово Константину и Елене.

Тырновский Е. Похвальное слово Михаилу — воину.

Тырновский Е. Похвальное слово недѣли.

Кантакузин Д. Слово похвальное ... Дмитрию Мироточцу.— В кн.: Ангелов Б. С. Стари славянски текстове. Изв. на ин-та за българска литература, кн. VIII. София, 1959.

Цамблак Г. Похвално слово за Евтимий патриарх търновски.— В кн.: Русев П., Гълъбов И., Давидов А., Данчев Г. Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак. София, 1971.

Цамблак Г. Житие Стефана Дечанского.— В кн.: Давидов А., Данчев Г., Данчева-Панайотова И., Ковачева П., Генчева Т. Житие на Стефан Дечански от Григорий Цамблак. София, 1983.

Rukopis Vladislava gramatika pisan godine 1469.— Starine, kn. I. Zagreb, 1869.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Толстой Н. И. Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода.— В кн.: Славянское языкознание. М., 1963.
2. Толстой Н. И. Роль древнеславянского литературного языка в истории русского, сербского и болгарского литературных языков в XVII—XVIII вв.— В кн.: Вопросы образования восточнославянских национальных языков. М., 1962.
3. Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988.
4. Търновска книжовна школа. Т. 1—4. София, 1974—1985.
5. Герд А. С. К морфологической типологии древнеславянских текстов.— Советское славяноведение, 1986, № 2.
6. Герд А. С. О синхроническом описании языка древнеславянских центров письменности.— Вестник Ленинградского ун-та, 1986, № 2, с. 2.
7. Герд А. С. Ареально-типологическая модель славянского склонения эпохи средневековья и вопрос о древнерусском литературном языке.— В кн.: Литературный язык Древней Руси. Л., 1986.
8. Герд А. С. Эталонные типа морфологических парадигм древнеславянских текстов.— Tartu riikliku ülikooli toimetised, 774. 1987.
9. Герд А. С. К изучению языка локальных центров древнеславянской письменности (Псков и Търново XIV—XVI вв.)— В кн.: Лексика и грамматика севернорусских говоров. Киров, 1986.
10. Герд А. С. Морфологические модели словообразования имен существительных в западнославянских текстах XVI века.— Вестник Ленинградского ун-та, 1988, № 3.

³ Всё последующее Тырновского Е. из этого же сборника.



СТАРΟΣЛАВЯНСКИЕ ОТАДЪЕКТИВНЫЕ НАРЕЧИЯ С СУФФИКСОМЪ

Наличие в старославянском языке (далее СЯ) пар отадъективных наречий на *-о* и на *-ѣ* типа *горько — горьѣ*, *дръзо — дръзѣ*, *достойно — достойнѣ* и т. п. — явление достаточно приметное. В тех старославянских грамматиках и учебных пособиях по СЯ, где имеется хотя бы небольшой раздел о наречиях, обязательно упоминаются эти два типа наречий. Так, например, в «Древнецерковнославянской грамматике» Г. Ланта, где описанию знаменательных наречий уделено не более половины страницы, эти два типа старославянских наречий названы в числе трех продуктивных [1]. Возможно, факты полной синонимии отадъективных наречий на *-о* и на *-ѣ*, наблюдаемые в ряде случаев в старославянских текстах, послужили причиной возникновения представления, что наречия на *-о* и на *-ѣ* в СЯ идентичны, взаимозаменяемы (как бы «парны») как с точки зрения словообразования, так и с точки зрения их употребления. «Суффиксы *-о*, *-е*, *-ѣ* равнозначны, *-о* и *-ѣ* встречаются при той же основе в 19 случаях», — пишет Я. Ян [2]. Анализ употребления наречий на *-ѣ* в текстах старославянских рукописей¹ (далее СР) может внести, как кажется, некоторые коррективы в представление, сложившееся об этом типе наречий в палеославистике.

Общее количество зафиксированных в СР наречий на *-ѣ*, мотивированных прилагательными, достаточно велико (66 наречий), хотя примерно в два раза меньше количества встречающихся в СР наречий на *-о*. Происхождение наречного суффикса *-ѣ* не совсем ясно. Обычно принято считать, что старославянские отадъективные наречия на *-ѣ* восходят к локативу (см. [3, S. 156—157; 4, с. 308; 5, S. 144] и др.), однако существуют и другие гипотезы о происхождении наречий этого типа (например, их возводят к форме вин. п. мн. ч. ср. р. [6, S. 249], к старым формам твор. п. ед. ч. на *-*ē* [7]). Несомненно, что наречный суффикс *-ѣ* был унаследован СЯ из праславянского и что корни этого суффикса как наречного признака уходят в еще более древние эпохи. Возможно, что этот суффикс служил для образования наречий от прилагательных уже в балто-славянском, о чем свидетельствует соответствие старославянских наречий на *-ѣ* древнепрусским и литовским наречиям на *-ai* и латышским на *-i* (см., например, [8; 9; 4, с. 307; 10] и др.; ср., однако, [11]).

Ефимова Валерия Сергеевна — канд. филол. наук, младший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

¹ Старославянскими называем 17 древнейших славянских рукописей, объединенных временем написания (X—XI вв.) и ареалом (созданы книжниками определенных культурных центров, главным образом, Охридского и Преславского). Среди них — 11 глаголических: евангелия Зографское, Маринское, Ассеманьево, Охридское, Зографский палимпсест, Боянский палимпсест, Синайская псалтырь, Синайский евхологий, Синайский служебник, Клоцов сборник, Рыльские листки, и шесть кириллических: Саввина книга, Листки Ундольского, Енинский апостол, Супрасльская рукопись, Хилацдарские листки, Зографские листки. Цифра рядом с названием рукописи обозначает количество употреблений.

В СЯ с помощью суффикса *-ѣ* образуются наречия только от прилагательных с твердой основой. С точки зрения словообразования, это существенно отличает наречия на *-ѣ* от наречий, образованных путем адвербиализации форм ср. р. ед. ч. им. — вин. п. прилагательных (к которым относятся и наречия на *-о*), так как последний тип не знает морфонологических и структурных ограничений (ср. наречия, образованные от кратких форм прилагательных с твердой основой типа *горько*, от кратких форм прилагательных с мягкой основой типа *добле*, от полных форм прилагательных типа *прокоје, послѣдънеіе*). Суффикс же *-ѣ* никогда не выступает в СЯ в виде алломорфа *-и*. Не встречаются и случаи адвербиализации полных форм прилагательных местн. п. ед. ч. Учитывая это обстоятельство, в отношении СЯ уже не следует говорить об образовании в нем наречий на *-ѣ* как об адвербиализации падежной формы соответствующих прилагательных, как это делается во многих, даже недавно изданных, старославянских грамматиках (см., например, [5, S. 144]). В СЯ наречный суффикс *-ѣ* представлял собой уже самостоятельный словообразовательный формант, и способ образования наречий с этим суффиксом следует рассматривать как морфологический.

С точки зрения структуры производящих основ, старославянские наречия на *-ѣ* можно разделить на две группы. Меньшую группу составляют наречия, образованные от качественных прилагательных с основами, на уровне СЯ не вычленимыми аффиксов: *грѣѣ*, *добрѣ*, *дръѣ*, *зълѣ*, *крѣѣ*, *люѣ*, *лѣѣ*, *мѣдрѣ*, *острѣ*, *правѣ*, *простѣ*, *соуровѣ*, *тврѣѣ*, *толѣ*, *чистѣ*, *курѣ*, *кусѣ*. Значительную часть производящих основ этих наречий составляют древние именные основы, о времени возникновения которых говорит их простейшая структура с формально (аффиксально) не выраженной принадлежностью к собственно прилагательным и объемом, не превышающий объема индоевропейской основы: *добр-* (и.-е. **dhabhr(o)-*), *дръз-* (и.-е. **dhrs(u)-*), *зъл-* (и.-е. **ǵh₂el(o)-*), *крѣн-* (и.-е. **krep-*, см. ЭССЯ, вып. 12, с. 136—138), *лют-* (и.-е. **l₁eut-*, см. [12, S. 691]), *лѣн-* (и.-е. **leip-*, см. [12, S. 670—671], ЭССЯ, вып. 14, с. 226—227), *остр-* (и.-е. **akr(o)-*), *прав-* (и.-е. **prǫ-₂(o)-*), *прост-* (и.-е. **pro-st(o)-*), *кур-* (и.-е. **i₁ur-*, см. ЭССЯ, вып. 8, с. 179), возможно, также и *грѣд-* (и.-е. **g^hrd(u)-*, см. ЭССЯ вып. 7, с. 207). Древность именных основ *мѣдр-* и *чист-* определяется наличием их в балто-славянском (ср., например, лит. *man-d-rūs : miñti* [13], лит. *skūs-tas : skiedžiu, skiesti* (ЭССЯ, вып. 4, с. 122), однако, возможно, эти основы являются даже индоевропейским наследием, особенно это вероятно в отношении *мѣдр-* (и.-е. **m(o)ndh-ro-*, см. [12, S. 730]).

Значительно большую группу составляют наречия, образованные от производных (точнее, мотивированных на уровне СЯ) прилагательных с формально выраженными признаками. 34 наречия на *-ѣ* образованы от прилагательных с суффиксом *-ѣн-*: *любѣѣ*, *обильнѣ*, *различнѣ*, *таинѣ*, *удобнѣ*, *безаконнѣ*, *бестоуднѣ*, *достойнѣ*, *законнѣ*, *известнѣ*, *истиннѣ*, *мирнѣ*, *неподобнѣ*, *непорочнѣ*, *неправднѣ*, *нпрѣподобнѣ*, *неразумнѣ*, *нечьстнѣ*, *обычнѣ*, *подобнѣ*, *потрѣбнѣ*, *прилежнѣ*, *прѣподобнѣ*, *прѣславнѣ*, *славнѣ*, *срамнѣ*, *оучАстнѣ*, *безгоднѣ*, *искропытнѣ*, *коупнѣ*, *своиствѣнѣ*, *самовиднѣ*, *самохотнѣ*, *чловѣколюбнѣ*. (Следует заметить, что мотивирующие прилагательные для наречий *безгоднѣ*, *искропытнѣ*, *коупнѣ*, *своиствѣнѣ*, *самовиднѣ*, *самохотнѣ*, *чловѣколюбнѣ* не встречаются непосредственно в СР, но эти наречия вычлениют в своей структуре суффикс прилагательных *-ѣн-*). Четыре наречия — *неблюдоѣ*, *невидѣ*, *сѣвршѣнѣ*, *ювѣнѣ* — образованы от адъективированных причастий. Пять наречий образованы от прилагательных-комполит (с суффиксами *-ѣн-* и *-ѣв-*): *благоѣврѣнѣ*, *богочьстѣ*, *доброразоумѣ*, *мѣноголичѣнѣ*, *нелицѣмѣрнѣ*. Наречие *нечловѣчьстѣ* образовано от прилагательного с суффиксом *-ѣск(ѣ)*. Наречие *крѣстиѣнѣ* 'похристиански' (*χριστιανικῶς*) образовано от прилагательного-займствованного из греческого (прил. *крѣстиѣнѣ* встречается в СР только в соответствии с греч. прилагательным сравн. ст. *χριστιανικῶτατος*, эпитетом к *βασιλεὺς* в Супр 186, 16, Супр 200, 26 и Супр 208, 11). Кроме того, четыре наречия — *горьѣ*, *кротѣѣ*, *сладоѣ*, *тАжѣѣ* — образованы от при-

лагательных с суффиксом -ъ(ь)к-, который, однако, на уровне СЯ уже утратил свое словообразовательное значение (скорее всего, уменьшительное, см. [14; 15; 16]).

Однако этот довольно значительный корпус отадъективных наречий на -ѣ не является принадлежностью всего СЯ. Видимо, впервые на зависимость употребления старославянских наречий на -ѣ от типа СР обратил внимание А. Вайн. В «Руководстве по старославянскому языку» он писал: «Этот тип (отадъективные наречия на -ѣ.— В. Е.), ограниченный в своем употреблении в древних текстах (в евангелии, псалтыри, требнике, Клоцовом сборнике), широко распространяется в позднейших текстах и церковнославянских сборниках, что может объясняться или различием между древнемакедонским и древнеболгарским языками, или, скорее, стремлением придать наречию признаки, свойственные греческим наречиям на -ως...» [17, с. 239]. Действительно, из всех отадъективных наречий на -ѣ для языка старославянских евангельских кодексов характерны всего пять: *добрѣ*, *зълѣ*, *лютѣ*, *мждрѣ*, *правѣ*. Исключением представляется употребление наречия *оудобьнѣ* в Ас в чтении Л 18, 25. В Мар, Зоґр и Сав здесь употреблено наречие другого типа *оудобѣе* (так же и в Добр, Добром, Бан, Ив-Ал). С другой стороны, написание *оудобьнѣ* не является, видимо, результатом порчи рукописи, так как во Врач также употреблено наречие на -ѣ — *оудобѣ*. Возможно, употребление наречия *оудобьнѣ* можно объяснить как инновацию Ас, внесенную в евангельский текст под влиянием традиции Преславской школы.

Остальные отадъективные наречия на -ѣ не только «ограничены в своем употреблении в древних текстах» (как пишет А. Вайн), но, если не учитывать употребление в Евх 102а 15 наречия с отрицательным префиксом *недобрѣ*, не встречаются даже и в Евх, Ен, Рыл — рукописях, близких по составу своей лексики к Супр (см. [18]). Фактически, за исключением наречий *добрѣ*, *зълѣ*, *лютѣ*, *мждрѣ*, *правѣ*, употребление отадъективных наречий на -ѣ связано с Супр, а также с двумя очень небольшими по объему СР — Хил и Зоґр-лл, тоже принадлежащими к так называемой Преславской школе письменности. В Супр употреблено 59 отадъективных наречий на -ѣ, из них 43 являются гапаксами СР. Еще по два гапакса-наречия на -ѣ известны по Хил и Зоґр-лл: *нечьстьнѣ* (Хил ПВб 16), *срамьнѣ* (Хил ПВб 12), *потрѣбьнѣ* (Зоґл-лл Іб 6) и *подобьнѣ* (Зоґр-лл Іб 1). В остальных СР употребляются только те наречия на -ѣ, которые встречаются в евангельских кодексах, и, кроме того, в Служ употреблено *горьцѣ* (Служ Іб 13).

Все пять встречающихся в старославянских евангельских текстах отадъективных наречий на -ѣ образованы от древних именных основ, относящихся, видимо, к индоевропейскому наследию (см. выше). Так как рассматриваемый тип наречий восходит, видимо, к балто-славянскому, временем возникновения этих наречий можно предполагать очень древнюю эпоху. Во всяком случае, это дает основания считать, что скорее всего данные наречия были унаследованы СЯ из праславянского. Следовательно, с точки зрения времени возникновения и способа образования данные наречия можно поставить в один ряд с группой наречий с качественно-характеризующим значением, на уровне СЯ уже не являющихся мотивированными, но восходящих к именным основам. Среди этих наречий есть лексемы, обладающие для СЯ довольно высокой частотностью: *трѣбѣ* 'нужно, годно' (Мар 1, Зоґр 1, Сав 1, Клоц 1, Хил 1, Супр 6, Ен 1, Рыл 1), *годѣ* 'угодно, приятно' (Син 1, Супр 3, Евх 2, Ен 1), *льстѣ* 'можно' (Клоц 2б 8), *поздѣ* 'поздно' (Мар, Зоґр, Ас, Сав, Охр, Клоц, Супр), *сквозѣ* 'насквозь' (Супр 339, 17), *разѣ* 'только, исключительно' (Супр 382, 1), *митѣ* 'попеременно' (Супр 2, 24). Не будучи словообразовательно мотивированными на уровне СЯ, большинство этих наречий вычленяет суффикс -ѣ на фоне однокоренных, семантически близких слов. Ср.: *трѣбѣ* — *трѣбовати* 'требовать, нуждаться' (Мар, Зоґр, Ас, Сав, Син, Евх, Супр), *потрѣба* 'потребность', 'необходимость' и 'польза' (Мар, Зоґр, Ас, Супр), *потрѣбьнѣ* 'нужный, необходимый' и 'полезный' (Мар, Зоґр, Ас, Супр, Рыл, Зоґр-лл); *годѣ* — *годити* 'удовлетворять' (Супр 308, 14); *льстѣ* —

польза 'польза, выгода, полезность' (Мар, Зоґр, Ас, Сав, Унд, Син, Клоц, Супр, Хил, Рыл, Ен), *польсьнь* 'полезный' (Евх, Супр, Рыл), *польсевати* 'извлекать пользу' и 'приносить пользу' (Зоґр, Мар, Зоґр-лл); *сквазь* — *скважня* 'скважина' (Супр 36, 19). В наречиях *мить* и *развь* именная основа выделяется уже только при этимологическом анализе (см. Фасмер, т. II, с. 628; Фасмер, т. III, с. 433). Наречие *поздь* возможно, еще и в СЯ было мотивировано прилагательным *поздь* 'поздний', хотя и не встречающимся в СР, но известным по более поздним древнерусским памятникам: в форме сравн. ст. *поздьишь* (Карт ДРС, ГБ XIV, л. 194а), см. также Срезневский, т. II, с. 1086; Фасмер, т. III, с. 303. Судя по значениям наречий, древние имена, послужившие базой для их образования, должны были иметь значения, связанные прежде всего с обозначением качеств и свойств, а не субстанций². По своим семантическим и формальным характеристикам имена типа *godь, *trěbь, *rozдь и т. п. стояли, видимо, в одном ряду с именами типа *dobгь, *zьль, *mqdгь и т. п. Однако последние сохранились в своем первоначальном виде и функционировали в СЯ в основном как прилагательные (ср., однако, употребление их в качестве существительных: с абстрактным значением — *добро*, *зъло* и т. п., как названия лица — *мждрь* и т. п.). Причину утраты ряда древних имен с качественным значением следует, видимо, искать в возникновении на определенном этапе развития языка имен с тем же значением, но со специальным суффиксом прилагательных -ьн, обладавших, конечно, большей выразительностью и потому вытеснивших из употребления древние безаффиксные имена. Ср., например, прил. *годнь* 'угодный, приятный', зафиксированное в Слепченском апостоле (памятнике болгарской редакции XII в.), в Беседах папы Григория (памятнике русской редакции XIII в.) и других более поздних церковнославянских рукописях (см. СЯС, д. I, s. 415), прил. *поздьнь* 'поздний', встречающееся в Супр (330, 27), а также в более поздних церковнославянских рукописях (см. СЯС, д. III, s. 114).

Если принять гипотезу В. Н. Топорова о локативном происхождении качественных наречий на -ѣ, то наречие *таи* (*taji*) 'тайно' (Мар 2, Зоґр 3, Ас, Сав 4, Син 1, Супр 6, Евх 11, Служ), в СЯ являющееся уже первообразным, следует, видимо, рассматривать как восходящее к адвербиализованной форме локатива имени *tajь с качественным значением. Этот случай представлял бы собой пример адвербиализации локатива имени с мягкой основой (ср. др.— прусск. наречия от прилагательных с мягкой основой *ainawijdei*, *gantzei*, *glandewingei*, *kittewidei* [6, S. 249], а наречие *таи* следовало бы тогда рассматривать как восходящее к адвербиализации локатива этого имени с предлогом *о*. Можно предполагать, что имя *tajь было утрачено в связи с распространением прилагательного *таинь* 'тайный' (Мар, Зоґр, Ас, Сав, Син, Евх, Клоц, Супр), имевшего большую выразительность вследствие наличия в нем специального суффикса прилагательных -ьн-.

О происхождении старославянских наречий *годѣ*, *льсѣ*, *трѣбѣ*, *поздѣ* в разное время высказывались различные, часто совершенно противоположные мнения (см., например, [3, S. 157—158; 19—22; 5, S. 145; 23] и др.). О некоторых из них необходимо упомянуть, так как, согласно этим предположениям, рассматриваемые наречия были образованы не путем адвербиализации локатива древних имен с качественным значением, как полагаем мы вслед за В. Н. Топоровым, а путем адвербиализации датива существительных с той же основой. Так, А. Лескин колебался в определении происхождения наречия *трѣбѣ* — восходит ли оно к локативу прилагательного *trěbь или к дативу существительного *трѣба* [3, S. 158].

² В. Н. Топоров настаивал на признании одинакового (т. е. локативного) происхождения как качественно-характеризующих, так и обстоятельственных наречий на -ѣ (типа *кромѣ*, *долѣ*, *вънѣ*, *срѣдѣ*, *горѣ*, *зимѣ*) [4, с. 308]. Однако референция древних имен, послуживших базой для образования обстоятельственных наречий, была, видимо, более предметного характера, что выразилось в их отходе к категории существительных в процессе дифференциации внутри первоначально синкретичной категории имени. Наречия *горѣ*, *зимѣ*, *срѣдѣ* и на уровне СЯ сохраняют словообразовательные отношения с соответствующими именами, воспринимаемыми уже как существительные.

А. Вайан возводил наречие *трьбѣ* к дативу существительного *трьба*, так же как и наречие *льсѣ* — к дативу существительного *льса* [24]. А. Вайан в выражении *трьбѣ ієсть* (в Л 14, 35) видел употребление дательного назначения [17, с. 214]. Осторожное предположение о возможности происхождения наречий *трьбѣ* и *годѣ* от целевого датива существительных высказывал А. Б. Правдин [25]. Однако в СЯ сущ. *трьба* (Супр 8) имеет только значение 'жертва'. Значение же наречия 'нужно, уместно', 'полезно' показывает, что оно не может быть мотивировано этим существительным. Напротив, производные с основой *трьб-* — *трьбовати* 'требовать, нуждаться', *потрьба* 'потребность, необходимость', 'польза', *потрьбьнь* 'нужный', 'необходимый', 'полезный' и др. обнаруживают общность с семантикой наречия *трьбѣ*. Значение же существительного *трьба* 'жертва' более специальное, относящееся к религиозной сфере, является, видимо, производным от этого основного. С этимологической точки зрения предположение о первоначальности религиозного термина (допустим, в качестве заимствования), тоже было бы невероятным, так как известные этимологии никак не связывают это слово с религиозной терминологией (см. Фасмер, т. IV, с. 96). Аналогичные отношения наблюдаются между наречием *годѣ* и существительным *годѣ*, где отсутствует семантическая связь между значением наречия 'угодно, приятно' и значениями существительного 'время, год', 'праздник'. На это обстоятельство, а также на неправомерность подачи других наречных образований с основой *год-* (*годѣ* 'кстати', *без года* 'некстати, в неудобное время', *на годѣ* 'соответственно', *въгодѣ* (*быти*) 'годиться') в СЯС в словарной статье на существительное *годѣ* указывала Н. В. Чурмаева [26]. В пользу первоначальной «качественности» значения основы *трьб-* свидетельствует ст.-слав. прилагательное сравн. ст. с префиксом *наи-*, предполагающее положительную степень **трьбѣ* и встречающееся в Супр: *и чюувѣства. ꙗже сѣтъ наитрьбьши ꙗти оучению. зѣло люѣтъ прокоуди.* (καὶ τὰς αἰσθησεις, ὅν ἡ χρῆσις ὀδός ἐπὶ μάθηςιν, ἐλεεινὸς ἐλμύηατο). Супр 339, 30. (А. Вайан считал это прилагательное превосходной степенью, образованной непосредственно из выражения *трьбѣ ієсть* [17, с. 162]).

Таким образом, в результате анализа приведенного выше материала можно заключить, что принадлежностью СР разного типа (и, следовательно, всего СЯ) являлась не очень многочисленная группа качественно-характеризующих наречий на *-ѣ*, унаследованных (по крайней мере, в основной своей массе) из праславянского, образованных на базе древних именных основ с качественным значением и с формально (аффиксально) не выраженной дифференциацией между прилагательным и существительным внутри общей категории имени, являющихся в СЯ как мотивированными (вследствие сохранения соответствующих имен в роли прилагательных), так и немотивированными, первообразными (вследствие утраты в языке соответствующих имен).

Связь же основной массы старославянских наречий на *-ѣ* с традицией Преславской школы письменности подтверждает дальнейший анализ их употребления в Супр. Как известно, Супр представляет собой сборник из 48 произведений разного происхождения — как переписанных с более ранних протографов, так и созданных, видимо, в рамках самой Преславской школы. Отадъективные наречия на *-ѣ* употребляются далеко не во всех произведениях Супр, а только в 27 из 48 — в восьми гомилиях и в 19 житиях (употребление *добрь*, *зѣль*, *люѣтъ*, а также немотивированных наречий на *-ѣ* в этом подсчете не учитываем). Количество наречий на *-ѣ* в этих произведениях также неодинаково. Как уже отмечалось, из 59 отадъективных наречий на *-ѣ*, встречающихся в Супр, 43 являются гапаксами. Большинство наречий-гапаксов с суффиксом *-ѣ*, встречающихся в гомилиях (шесть наречий из десяти), приходится на гомилии № 32 и № 39. В гомилии № 32 зафиксированы: *доброразоумиѣ* (εὐγνωμόνως), *обильнѣ* (δαφιλῶς), *своиствьнѣ* (ιδιχώς); в гомилии № 39: *неразоумиѣ* (ἀνοήτως), *простѣ* (ἀπλῶς), *самохотьнѣ* (ἐκόν). Их этих наречий только наречие *простѣ* образовано от прилагательного с непроизводной (на уровне СЯ) основой, остальные же наречия образованы от производных при-

лагательных, в том числе и прилагательных-комполит. Гомилии № 32 и № 39 стоят особняком в составе Супр. Именно гомилию № 32 Н. Ван-Вейк выделял как напоминающую по языку язык Иоанна Экзарха и противопоставлял гомилии № 40, носящей явный македонский отпечаток. В то же время Н. Ван-Вейк считал, что гомилии № 32, № 38 и № 39 объединены общим происхождением [27]. В гомилии № 38 (третьей гомилии из указанных Н. Ван-Вейком) также встречаются наречия на -ѣ: гапакс *кавиѣнтъ* (σαφέστερον) и наречие *сладѣць* (ἡδέως), которое употреблено в Супр еще три раза — в житиях № 17, 18 и 23. По одному гапаксу-наречию на -ѣ встречается еще в трех гомилиях: в гомилии № 29 — *лѣнтъ* (εὐφρῶς), в гомилии № 30 — *толѣ* (греч. не соответствует), в гомилии № 6 — *дрѣзѣ* (ἐπί πλεῖον). Возможно, неслучайно, что эти наречия, в отличие от гапаксов из гомилий № 32, 38 и 39, образованы на базе прилагательных с непроизводными основами.

В житиях употребляется значительно больше отадъективных наречий на -ѣ, чем в гомилиях. Распределение наречий по отдельным житиям также неравномерно и довольно характерно. Самое большое число наречий на -ѣ содержит Житие Анина. В этом житии употреблено восемь гапаксов-наречий на -ѣ: *безаконѣнтъ*, *бестоудѣнтъ*, *кротѣць*, *многоличѣнтъ*, *неподобѣнтъ*, *обычѣнтъ*, *самовидѣнтъ* (вероятно, ошибочное написание вместо какого-то созвучного наречия — см [28]), *ясѣнтъ*. Еще пять наречий на -ѣ из Жития Анина встречаются также и в других произведениях Супр: *горѣць* (встречается также в Житии Савина № 11, Житии Ионы и Варахисия — № 23, Житии Трофима и Евкарпиона — № 17, в Житии Иакова — № 46), *любѣзѣнтъ* (встречается еще в гомилии № 36), *прѣславѣнтъ* (встречается еще в Житии Исаакия — № 16), *сѣрьшенѣ* (в Житии Анина — три раза и по одному разу в Житиях Ионы и Варахисия — № 23 и Иакова — № 46), *чистѣ* (встречается также в гомилии № 44 и в Житиях Теодора, Константина — № 4, Кодрата — № 7). Как видно из приведенного перечня, большинство этих наречий мотивированы прилагательными с основой, осложненной аффиксами, и прилагательными-комполитами. Как известно, Житие Анина является одним из произведений Супр, наиболее ярко отражающих языковые черты Преславской школы. В отношении же рассматриваемых наречий следует отметить не только исключительно большое количество гапаксов в этом произведении, но также и то, что наречия на -ѣ из этого жития встречаются также в № 16, 7, 46 и 36, т. е. в гомилии и житиях, входящих в число тех произведений, которые, по наблюдению Э. Благовой, имеют большое количество совпадений в других областях лексики с языком Иоанна Экзарха [29, с. 122—126] и, следовательно, отражают особенности Преславской школы письменности.

На «втором месте» по числу употребленных гапаксов-наречий на -ѣ стоят Жития Ионы и Варахисия (№ 23) и Иоанна Молчаливого (№ 25). В этих произведениях употребляется по четыре гапакса: в Житии Ионы и Варахисия — *безгодѣнтъ* (ἀχαίρως), *истинѣнтъ* (ἀκριβῶς), *славѣнтъ* (ἐνδόξως), *изѣбѣнтъ* (ἀκριβῶς), в Житии Иоанна Молчаливого — *достойнѣ* (ἀξίως), *крѣстианѣ* (χριστιανικῶς), *карѣ* (ἐμβριθῶς), *искропытѣнтъ* (ἀκριβῶς). Как отмечает Э. Благова [29, с. 124], Житие Иоанна Молчаливого, наряду с Житием Исаакия, отличается наибольшей близостью в области лексики как к языку Иоанна Экзарха, так и к языку житий № 46, 47, 48 и гомилий № 32, 38 и 39, т. е. тоже относится к произведениям с наиболее выраженной принадлежностью к Преславской школе. Из гапаксов Жития Иоанна Молчаливого особенно интересны наречия *крѣстианѣ* и *искропытѣнтъ*. Наречие *крѣстианѣ*, в силу своего значения 'по-христиански', является, возможно, не только гапаксом СР, но и неологизмом. Наречие *искропытѣнтъ*, гапакс СР, по наблюдениям Э. Благовой, встречается два раза в Шестодневе Иоанна Экзарха.

Остальные гапаксы-наречия на -ѣ распределяются по житиям следующим образом. По два гапакса приходится на Житие Иакова (№ 46) и Житие Кодрата (№ 7) — произведения, также характеризующиеся своими языковыми особенностями, свойственными Преславской школе. В Житии Иакова: *непорочѣнтъ* (ἀμείπτως), *оучАстѣнтъ* (μερικῶς); в Жи-

тии Кюдрата: *грѣѣ* (φοβερόν), *нечловѣчьстѣ* (ἀνανθρώπως). Довольно много наречий с суффиксом -ѣ приходится на Житие Павла и Улиании (№ 1), особенно если учесть, что мы располагаем только концом этого жития (с. 1—15 по изд. С. Северьянова). Здесь употреблены два гапакса: *непрѣ-подобнѣ* (ἀνοσίως) и *различнѣ* (ἀλλοιοῦσθαι). Кроме того, встречаются еще три наречия на -ѣ, известные по другим житиям Супр: *мирнѣ* (ἐν εἰρήνῃ), *неправднѣ* (ἀδικῶς), *соуровѣ* (ὤμῳς). По два гапакса зафиксированы в Житиях Василия и Капитона (№ 47), и Теодора, Константина (№ 4): в № 47 — *богочыствѣ* и *нелицемернѣ*; в № 4 — *крѣпнѣ* (ἀκραδαντον) и *острѣ* (ὀξύως). По одному гапаксу встречается в Житии 44 мучеников (№ 5) — *законнѣ* (νομίμως), в Житии Иоанна Схоластика (№ 24) — *таинѣ* (χρησίαις δὲ βραΐς), в Житии папы Григория (№ 8) — *чловѣко-любнѣ* (φιλανθρώπως). В Житии Исаакія (№ 16) также употреблен только один гапакс — *коупнѣ* (ὁμοούσιος, равное словосочетанию *коупнѣ сжи-тши*), однако здесь употреблено также четыре раза наречие *мирнѣ* (встречается и в Житии Павла и Улиании) и наречие *прѣславнѣ* (παράδοξως, еще два раза употреблено в Житии Анина).

Несколько противоречащим общей картине распределения наречий на -ѣ в Супр кажется на первый взгляд употребление наречия *горьчѣ* (πικρῶς) в Житии Савина (№ 11), которое обычно относят к «непреславским» текстам. Однако здесь следует учитывать два обстоятельства. Во-первых, наречие *горьчѣ* — единственное отадъективное наречие на -ѣ (за исключением наречий, употребляемых в евангельских текстах), которое, помимо Супр, встречается еще и в Служ. Во-вторых, очень важно, что такая инновация в тексте Жития Савина была, видимо, не единственной, так как Э. Благова отмечает в этом произведении другие факты лексики, свойственные Преславской школе: глагол *поустити* в значении 'послать', глагол *вълѣсти* в значении 'войти' [29, с. 120].

Приведенный материал показывает, что именно в рамках текстов, относящихся к Преславской школе письменности, наблюдается развитие типа отадъективных наречий на -ѣ как продуктивного, открытого словообразовательного типа. Именно здесь образование наречий с помощью суффикса -ѣ вовлекает в свою сферу не только прилагательные с древними именными основами, не являющиеся мотивированными на уровне СЯ, но и производные, аффиксальные прилагательные и прилагательные-компиты. Большое количество гапаксов-наречий этого типа, встречающихся в тех произведениях Супр, в которых исследователи-текстологи уже отмечали другие особенности лексического состава, свойственные Преславской школе, заставляет думать, что определенная часть наречий на -ѣ являлась не только гапаксами, но и неологизмами.

Для новых, «преславских» наречий на -ѣ характерна определенная синтаксическая функция. Все они, за исключением наречия *оучАстънѣ*, употребленного в качестве вводного слова (Супр 513, 25), выполняют в текстах Супр роль глагольных определений. В этом видится одно из существенных различий между старославянскими наречиями на -ѣ и на -о, так как целый ряд наречий на -о употребляется в СР как в качестве глагольного определения, так и в предикативной функции. Например, наречие *достойнѣ* употреблено только в качестве глагольного определения (определяет причастие), наречие же *достойно* употребляется и в качестве глагольного определения, и в предикативной функции: *мѣжъ нѣкто ... еверши же нарицаемъ епискоупъскимъ саномъ почътенъ. и того достойнѣ живы въ иероусалимъ пришѣдѣ. ... и изиде и свАтааго гра (вм. града)... (καὶ ταύτης ἀξίως πολιτευόμενος... ἐξῆλθεν τῆς ἀγίας πόλεως) Супр 293, 24; да достойно живѣ. по заповѣдемъ твоимъ. единочАдааго сна твоего. съподобитѣ сА рАдоу стѣхъ твоихъ. (ἐνα ἀξίως πολιτευσάμενος κατὰ τὰς ἐντολὰς τοῦ μονογενοῦς σου υἱοῦ καταξιώθη τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί (Евх 816 20; како въниде (Давид) въ храмъ бѣжи. и хлѣбы прѣдѣло-жениѣ сънѣстѣ. и хѣже не достойно емоу бѣ бѣсти. (... δ[ι]οῦς]οὺκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν) Мф 12, 4 Мар, Зогр; наречие *извѣстнѣ* употреблено только в качестве глагольного определения, наречие же *извѣстно* — как в качестве гла-*

гольного определения, так и в предикативной функции: *изъходАште зъвании ктждо и своіего домоу. вѣдАтъ извѣстѣнѣ како идѣтъ на веселие.* (ἐξερχόμενοι οἱ κληθέντες ἕκαστος ἐκ τοῦ οἴκου ἑαυτοῦ οἶδασιν ἀκριβῶς, ὅτι ἀπέρχονται εἰς εὐφρασίαν Супр. 267, 6; и *пославъ іА въ виолеомъ. рече. шедъше испытайте извѣстѣно о отроцАти.* (...πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου) Мф 2, 8 Ас, Сав; *извѣстѣно бо бѣ людемъ. Ъко иоанъ пркѣ бѣ.* (πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι) Л 20, 6 Мар, Зогр. Следует отметить, что для «старых» наречий на -ѣ предикативная функция была обычна. Ср., например, употребление наречия *поздѣ* в качестве глагольного определения и в предикативной функции: *о разбоиниче... поздѣ вѣровавъ. а скоро исповѣдѣвъ* (Ὁ ληστὰ βραδέως πιστεύσας, καὶ ταχέως ὁμολογήσας) Клоц 116 32; и *ѣко поздѣ быствъ. сѣнидѣ оученици его на море.* (Ὡς δὲ ὄψια ἐγένετο κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν) И 6, 16 Зогр, Мар, Ас.

Наличие в СР наречий на -о и -ѣ, образованных от одной основы, вызывает вопрос о соотношении их лексических значений. Этот вопрос представляет особенный интерес в связи с тем, что И. Харалампиев, сопоставляя наречия на -ѣ и на -о в произведениях Евтимия Тырновского, пришел к выводу, что в употреблении этого автора значения наречий на -ѣ отличались от значений наречий на -о элитивностью [30]. Нами было зафиксировано 25 пар старославянских наречий на -ѣ и на -о, образованных от той же основы: *дръзѣ — дръзо, достоинѣ — достоино, законѣнѣ — законно, извѣстѣнѣ — извѣстѣно, кротѣцѣ — кротѣко, коупнѣнѣ — коупно, лѣнѣ — лѣно, невидимѣ — невидимо, неподобѣнѣ — неподобно, простѣ — просто, различнѣнѣ — различно, подобѣнѣ — подобно, потрѣбѣнѣ — потрѣбно, горѣцѣ — горѣко, добрѣ — добро, зълѣ — зѣло, любѣзѣнѣ — любѣзно, люте — люто, мирнѣнѣ — мирно, правѣ — право, прилежнѣнѣ — прилежно, сладѣцѣ — сладѣко, тврѣдѣ — тврѣдо, тАжѣцѣ — тАжѣко, чистѣ — чисто.* В этих парах более частотными оказываются, как правило, наречия на -о (из 25 наречий на -ѣ 13 являются гапаксами, среди же соответствующих наречий на -о — только четыре гапакса). Однако сопоставление контекстов с этими наречиями не позволяет увидеть большей элитивности значений наречий на -ѣ — в сравнении с значениями наречий на -о. В ряде случаев оба наречия соответствуют одному и тому же греч. наречию: *достоинѣ* в Супр 293, 24 и *достоино* в Евх 81а 23, Евх 816, 20, Евх 906 22, Евх 1056 11 соответствуют греч. ἀξίως; *законѣнѣ* в Супр 75, 27 и *законно* в Ен 1а 5 соответствуют греч. νομίμως *извѣстѣнѣ* в Супр 267, 6 и *извѣстѣно* в Мф 2, 8 Ас, Сав соответствуют греч. ἀκριβῶς; *подобѣнѣ* в Зогр-лл 16 1 и *подобно* в Супр 280, 4 соответствуют греч. ἀξίως; *горѣцѣ* в Супр 153, 9 и Супр 255, 19 и *горѣко* в Л 22, 62, Мф 26, 75, Супр 44, 6, Супр 338, 11, Супр 405, 25, Супр 526, 27 соответствуют греч. πικρῶς; *потрѣбѣнѣ* в Зогр-лл 16 6 и *потрѣбно* в Евх 64а 16 соответствуют греч. χρῆσιμος *правѣ* в Л 10, 28 Мар, Зогр и *право* в Л 7, 43 Сав, Л 10, 28 Ас, Л 20, 21 Мар соответствуют греч. ὀρθῶς; *прилежнѣнѣ* в Супр 301, 3 и *прилежно* в Л 15, 8 Мар, Зогр и в Рыл IVа 4 соответствуют греч. ἐπιμελῶς; *сладѣцѣ* в Супр 431, 13 и *сладѣко* в Супр 30, 5, Супр 320, 19, Супр. 403, 12 соответствуют греч. ἡδέως *чистѣ* в Супр 506, 28 и *чисто* в Супр 340, 3 соответствуют греч. καθαρῶς; *тАжѣцѣ* в Супр 334, 23 и *тАжѣко* в Мф 13, 15 Мар, Зогр соответствуют греч. βαρέως. Ср., например, употребление наречий *тАжѣко* и *тАжѣцѣ* в евангельских кодексах и Супр: *отлѣствѣ бо срѣце людеи сихѣ. и оушима тАжѣко слышашА.* (...καὶ τοῖς ὤσιν βαρέως ἤκουσαν) Мф 13, 15 Мар, Зогр; *оудебелѣ бо срѣдѣце людии сихѣ. и оушима тАжѣцѣ слышашА.* (греч. тот же) Супр 334, 23; ср. также употребление наречий *прилежно* и *прилежнѣнѣ* в евангельских кодексах и Супр: *ли каѣ жена имѣшти десАтъ драгмъ. аште погоубить драгмѣ единѣ. не възжисаатъ ли свѣтильника. и помететъ храмины. и иштетъ прилежно доньдеже обрАштетъ.* (...καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὐρη) Л 15, 8 Мар, Зогр; *азъ оубо вѣшѣдѣ к нему. и страшное дѣба чудо видѣвъ. расмаштрѣхъ прилежнѣнѣ. како оукорени сА.* (κατενόουν ἐπιμελῶς πῶς ἐρίζθη) Супр 301, 3.

Нельзя, однако, совершенно отрицать возможность развития элитивного оттенка в значении некоторых наречий на *-ѣ*. Возможно, результатом такого семантического развития у наречия *добрѣ* явилось употребление его в Зогр в чтении И 11, 50 на месте *оуниѣ* в Мар и Ас: *ни помышлѣте. ѣко добрѣ естѣ вамъ. да единъ чкъ оумьретъ за люди.* (οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέροι ὑμῖν ἵνα εἰς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ) И 11, 50 Зогр (Ср. также отмечавшееся выше употребление наречия *оудобѣнѣ* в Ас на месте *оудобѣиѣ* в других старославянских кодексах: *оудобѣнѣ бо естѣ вельбѣдоу скозѣ изьминѣ оуши проити. неже богатоу въ црство бжие вѣннѣти.* (εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν ἢ πλοῦσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν) Л 18, 25 Ас). Элитивный или даже, возможно, компаративный оттенок в значении можно предполагать у наречия *дрьзѣ* в Супр 88, 11, так как оно соответствует греч. ἐπὶ πλείον и сопоставлено в тексте с наречием сравн. ст. *славѣнѣиѣ: иеже аште дрьзѣ сѣтрпнѣтъ. славѣнѣиѣ вѣнѣчаиѣтъ сА. аште ли напрасно оумьретъ. отидетъ избывъ сѣдѣи нжждѣннѣихъ.* (ὅπερ ἐὰν μὲν ἐπὶ πλείον ἀντίοχη, λαμπρότερον στεφανοῦται...) Однако эти случаи в СЯ были единичны.

Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что употребление наречий на *-ѣ*, особенно образованных от производных, аффиксальных прилагательных и прилагательных-комполит, является яркой языковой особенностью Преславской школы письменности. Причина резкого возрастания продуктивности данной модели образования наречий в рамках этой школы пока неясна. Возможно даже, что эта черта являлась следствием влияния западных диалектов, однако подтверждение такого предположения требует дальнейших специальных исследований. Специальной темой исследования должно стать также сопоставление данного типа старославянских наречий с соответствующими наречиями в древнерусском письменно-литературном языке.

СОКРАЩЕНИЯ

- Ас — *Kurz J. Evangeliãř Assemanův. Praha, 1955.*
 Бан — Банишко евангелие. Среднобългарски паметник от XIII век. Подг. за печат Е. Дограмаджиева и Б. Райков. София, 1981.
 Врач — *Цонев Б. Врачанско евангеле. («Български старини», кн. IV). София, 1914.*
 Добр — *Цонев Б. Добрейшово четвроевангеле. («Български старини», кн. I). София, 1906.*
 Добром — Добромирово евангелие. Български паметник от началото на XII век. Подг. за изд. Б. Велчева. София, 1975.
 Вех — *Nahtigal R. Euchologium Sinaiticum. D. II. Ljubljana, 1942; Frček J. Euchologium Sinaiticum. T. 1—2. Paris, 1933—1939.*
 Ен — *Мирчев К., Кодов Хр. Енински апостол. София, 1965.*
 Зогр — *Jagić V. Quattuor evangeliorum codex glagoliticum dim Zographensis nunc Petropolitanus. Berolini, 1979.*
 Зогр-л — Зографские листки: *Минчева А. Старобългарски кирилски откъслци. София, 1978, с. 39—45.*
 Ив-Ал — *Живкова Л. Четвроевангелието на цар Иван Александър. София, 1980.*
 Карт ДРС — Картотека Словаря древнерусского языка XI—XIV вв., хранящаяся в Институте русского языка АН СССР.
 Клоц — *Dostal A. Clozianus. Praha, 1959.*
 Мар — *Ягич И. В. Маринское четвроевангелие. Graz, 1960.*
 Охр — *Ильинский Г. А. Охридские глаголические листки (в сер. «Памятники старославянского языка»). Т. III, вып. 2). Пг., 1915.*
 Рыл — *Гошев И. Рилски глаголически листовце. София, 1956.*
 Сав — *Шепкин В. Н. Саввина книга (в сер. «Памятники старославянского языка»). Т. II, вып. 2). СПб., 1903.*
 Син — *Северьянов С. Н. Синайская псалтырь. Пг., 1922; Rahlfs A. Septuaginta. V. 2. Stuttgart 1952.*
 Служ — Синайский служебник: *Nahtigal R. Euchologium Sinaiticum. D. II. Ljubljana, 1942, s. 339—345.*
 Срезневский — *Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I—III. СПб., 1893—1912.*
 Супр — *Заимов Й., Капалдо М. Супрасълски или Ретков сборник. Т. 1—2. София, 1982—1983.*
 СЯС — *Slovník jazyka staroslověnského. D. I. Praha, 1968 —*
 Унд — Листки Ундольского: *Минчева А. Старобългарски кирилски откъслци. София, 1978, с. 18—24.*

Фасмер — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV. М., 1964—1973.

Хил — Хиландарские листки: Минчева А. Старобългарски кирилски откъслци. София, 1978, с. 24—39.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974 —

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Lunt H. G. Old Church Slavonic grammar. 'S — Gravenhage, 1955, p. 67—68.
2. Ян Я. Старославянское наречие как член предложения. — Slavia, 1967, гоѡ. 36, сеѡ. 1, s. 7—8.
3. Leskin A. Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. Heidelberg, 1919.
4. Топоров В. Н. Локатив в славянских языках. М., 1961.
5. Aitzemüller R. Altbulgarische Grammatik als Einführung in die Slavische Sprachwissenschaft. Freiburg, 1978.
6. Trautmann R. Die altpreussischen Sprachdenkmäler. Göttingen, 1910.
7. Meÿe A. Общеславянский язык. М., 1951, с. 378, 327.
8. Trautmann R. Die litauischen Adverbia auf -ai und die slavischen Adverbia auf -e. — Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, 1920, Bd. 49. S. 251—252.
9. Endzelins J. Altpreussische Grammatik. Riga, 1944, S. 138.
10. Stang Ch. S. Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo, 1966, S. 276.
11. Schelesniker H. Beiträge sur historischen Kasusentwicklung des Slavischen. — Wiener slavistisches Jahrbuch. Erg. 5, Graz — Köln, 196, 4, S. 16—17.
12. Pokorný J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Bern — München, 1959.
13. Fraenkel E. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Lief. 6. Heidelberg — Göttingen, 1957, S. 405—406.
14. Troubetzkoy N. Les adjectifs slaves en ѡкъ. — Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris, 1923, t. 24, fasc. 1, p. 132—133.
15. Эккерт Р. Основы на -ÿ- в праславянском языке. — Уч. зап. Ин-та славяноведения. Т. 27. М., 1963, с. 87.
16. Откупщиков Ю. В. Литовский язык и праславянские реконструкции. — Baltistica, 1974, X (1), с. 15—18.
17. Вайан А. Руководство по старославянскому языку. М., 1952.
18. Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка. М., 1977, с. 290.
19. Zubatý J. Studie a články. Sv. I, ѡ. I. Praha, 1945, s. 61—76.
20. Stang Ch. S. Eine preussisch-slavische (oder baltisch-slavische?) Sonderbildung. — Scando-Slavica, 1957, t. III, S. 236.
21. Скупский Б. И. Старославянский язык. Ч. I. Махачкала, 1965, с. 340.
22. Moszyński L. Starosłowiańskie *perdъ — *perdъ. — Zeszyty naukowe wydziału humanistycznego. Filologia polska. Prace językoznawcze Un-tu Gdańskiego, 1976, № 4, S. 124.
23. Добрев И. Старобългарска граматика. София, 1982, с. 166.
24. Doritsch A. Gebrauch der altbulgarischen Adverbia. Leipzig, 1910, S. 156.
25. Праудин А. Б. Дательный прилагольный в старославянском и древнерусском языках. — Уч. зап. Ин-та славяноведения. Т. 13. М., 1956, с. 20.
26. Чурмаева Н. В. Описание наречий в историческом словаре. — Древнерусский язык. Лексикология и лексикография. М., 1980, с. 72.
27. Van Wijk N. (rec). Marguliés A. Der altkirchenslavische Codex Suprasliensis. Heidelberg, 1927. — Zeitschrift für slavische Philologie, 1927, Bd. 4, S. 483.
28. Цейтлин Р. М. Лексика древнеболгарских рукописей X—XI вв. София, 1986, с. 260.
29. Благова Э. Лексика Супрасльської рукописи и лексика Иоанна Экзарха. — Прочувания върху Супрасльския сборник — старобългарски паметник от X век. София, 1980, с. 122—126.
30. Харалампиев И. Качествените наречия на -о и -ѡ в произведенията на Евтимий Търновски. — Трудове на Великотърновския ун-т «Кирил и Методий». Т. 15, кн. 2. София, 1980, с. 111—135.



УЛЬЯНОВСКИЙ В. И.

ДЕЛО ПАНА МАРШАЛКА ЙОЗЕФА ВАНДАЛИНА ИЗ ВЕЛИКИХ КОНЧИЦ МНИШКА И ТАЙНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЖЕДМИТРИЯ I

В Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА) в фонде 149 хранятся дела о самозванцах (№ 1—81, с учетом дополнительных буквенных обозначений — 91 единица). Это главным образом документы эпистолярного характера, большинство из которых касается Лжедмитрия I (около 55 единиц). По замечанию Н. Н. Бантыш-Каменского, часть из них была найдена в палатах Самозванца после его низвержения 17 мая 1606 г. Большую коллекцию документов в 1732—1736 гг. русским посланникам передал Й. В. Мнишек. Некоторые бумаги были привезены из варшавского архива после 1794 г. и попали в Коллегию Министерства иностранных дел в апреле 1801 г. [1, ф. 149, оп. 1, л. 1; 2, ф. 256, ед. хр. Р. 508, л. 1; 3, с. 44; 4, с. X].

Документы, найденные в палатах Лжедмитрия I, легко установить по обвинительному акту Василия Шуйского и статейному списку посольства в Польшу 1606—1607 гг. [5, № 44, 47, 48, 58, 67; 6, ч. 1, с. 604, ч. 2, с. 303, 313; 7, кол. 174, оп. 2, карт. V, ед. хр. 250; 1, ф. 79, оп. 1, ед. хр. 27, ф. 156, оп. 1, ед. хр. 82, ф. 199, оп. 1, п. 133, ч. 1, № 11, 13, 16, 17; 8, ч. 1, с. 320, ч. 2, с. 11—12], где они пересказываются [1, ф. 149, оп. 1, ед. хр. 2, 12, 13, 14, 16, 17, 18д, 19, 20, 29, 36, 37, 41] (см. [6, ч. 2, № 79, 96—98, 101, 103, 107, 105, 106, 114, 121, 122, 126]). Они же упоминаются в описях архива Посольского приказа 1614, 1626, 1632 гг. [4, с. 3—5, 9—11, 23, 26; 8, ч. 1, с. 111—113, ч. 2, с. 10—13]. Считалось, что к данной группе документов относятся все 55 актов, связанных с Лжедмитрием I [9, с. 92, 95].

Однако основной пласт указанных источников попал в архив Коллегии Министерства иностранных дел только в 30-е годы XVIII в., о чем свидетельствует интересный документ — иск Йозефа Вандалина из Великих Конциц Мнишка¹, предъявленный московскому правительству [1, ф. 149,

Ульяновский Василий Иригархович — канд. ист. наук, старший преподаватель Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко.

¹ Йозеф Вандалин Мнишек (1670—1747) — маршалок надворный коронный, каштелян краковский, староста санацкий, яворовский, рогатинский, голанбский. Сын Ежи-Яна Мнишка и Анны Ходкевич. Воспитывался вместе с королевичем Якубом Собеским. Вел сложные политические интриги при дворе, меняя свою ориентацию в зависимости от личной выгоды. Поддерживал связи с русским и австрийским дворами, получая от них подарки и деньги. Находился под большим влиянием второй жены — Констанци Тарло, которая занималась политической деятельностью и участвовала в крупных международных политических акциях.

И. В. Мнишек упорядочил родовой архив, пользовался архивом маршалковским и канцлерским, собирал документы по всей Польше. Часть этого архива с 1854 г. находится в собрании Оссолинских. И. В. Мнишек прославился строительством костелов, замков и дворцов (в Дукле, Варшаве, Ляшках, Денблине, Яворове), поддерживал деловые отношения с архитекторами Г. Киверотти, П. Рикауд де Тирагалле, скупал живопись и книги, имел свой оркестр и певцов.

оп. 1, ед. хр. 71а, ф. 184, оп. 1, ед. хр. 137; 2, ф. 256, ед. хр. Р. 24]. Еще в 1608 г. польские послы требовали от Шуйского возместить убытки Мнишкам. При Петре I (1718) посол Станислав Хоментовский возобновил иск. Он взял из архива маршалка под расписку (20 октября 1719 г.) ряд документов; был составлен полный их реестр (23 ноября 1719 г.) и специальное обращение к царю Петру Алексеевичу с просьбой о возмещении убытков и выполнении обещаний, данных Мнишкам обоими самозванцами. Однако, по совету канцлера Головкина и Шафирового, вопрос не был прямо поставлен перед царем, так как негативно отразился бы на ходе дипломатических переговоров в целом. Лишь 15 октября 1720 г. Хоментовский сообщил Мнишку, что передал его ходатайство царю [10, ф. 250, оп. 2, ед. хр. 181, л. 128, ед. хр. 180, л. 27 об.]. Делом И. В. Мнишка поручено было заниматься русским посланникам в Польше кн. Г. Ф. и С. Г. Долгоруким (1722). Маршалку предложили 6 тыс. червонцев, но это его не удовлетворило. 24 января 1732 г. И. В. Мнишек в Варшаве подал ноту министру Ф. К. де Левенвольде, который 14 октября взял у него под расписку ряд документов, подтверждающих претензии Мнишков [10, ф. 250, оп. 2, ед. хр. 181, л. 128; 11, кол. Оссолинск. 2431/II, л. 1 об., 4, 7, 8 об., 16; 2, ф. 256, ед. хр. Р. 24]. Маршалок обратился также за протекцией к королю Августу III (26 марта 1735 г.). Русские вельможи в своих письмах к И. В. Мнишку (Левенвольде — 7 июля 1735 г., Вейсбах — 13 июля 1735 г., Ягужинский — 10 августа 1735 г.) давали обещания и предлагали новые компромиссы. Об этом же писал 30 ноября 1735 г. из Петербурга и Бирон. Получив 27 февраля 1736 г. рекомендательное письмо от короля Августа III непосредственно к императрице, Мнишек предпринял новую попытку, обратившись прямо к Анне Иоанновне. В самом начале ходатайства заявлялось, что маршалок И. В. Мнишек вновь возбудил дело «по правам прабабки своей Марии Мнишковны, воеводянки сандомирской относительно записей на княжества в разных краях, на миллионные суммы, драгоценности, серебро, также относительно убытков и неисчислимых сокровищ, ввезенных из Польши в Москву и там же утраченных». Маршалок «крепко полагался на доброту и справедливость царствующей Анны Иоанновны» [1, ф. 149, оп. 1, ед. хр. 71а, л. 1—3, 9—10, ф. 184, оп. 1, ед. хр. 137, л. 265—267].

Вскоре Станислав Дунин привез в Петербург взятые под расписку (3 марта 1736 г.) 35 оригинальных документов за 1604—1609 гг. в подтверждение претензий Мнишка на наследие Марины и обещания самозванцев. Они были переданы двору 3 марта 1737 г. [10, ф. 250, оп. 2, ед. хр. 184, л. 537—538, ед. хр. 180, л. 27—28]. В ответ на ходатайство маршалка русское правительство 2 мая 1737 г. выдало ему 3000 червонцев «с условием, дабы он свою уничтожил претензию по делу давнему во время бывшего в Москве при самозванце Отрепьеве грабительства имения его родственников» [12, с. 240]. Как развивались события дальше, неизвестно, да это и не имеет существенного значения. Важно то, что иск 1736 г. позволяет установить, какие документы о самозванцах находились в фамильном архиве и были переданы в Москву в 1732—1736 гг.

Сличение перечня документов в деле маршалка с описью ф. 149 показывает, что 35 единиц, находящихся сейчас в архиве, несомненно происходят из семейного собрания Мнишков. Все они касаются главным образом воеводы и его дочери (в соответствии с перечнем в реестре Мнишка [1, ф. 149, оп. 1, ед. хр. 1, 2, 5, 10, 18а, 15, 6, 8, 24, 23, 26, 30, 35, 43а, 45, 28, 44, 34, 25, 65, 66, 67, 69, 49, 63, 51, 9, 7, 33, 53, 54, 52, 4, 55] см. [6, ч. 2, № 76, 79, 81, 95, 102, 99, 86, 87, 109, 108, 110, 116, 120, 128, 132, 113, 131, 118, 111, 171, 173, 178, 187, 136, 170, 139, 93, 119, 88, 159, 158, 157, 80, 160]; документ № 3 [1, ф. 149, оп. 1, ед. хр. 5] опубликован [13; 14, ч. 2]).

Остается неясным, когда и при каких обстоятельствах указанные документы попали в Польшу к Мнишкам. Считается, что поляки во время разграбления Московского Кремля в 1610—1612 гг. вывезли вместе с цен-

И. В. Мнишек был дважды женат (на Элеоноре Огинской и Констанции Тарло), имел четырех дочерей и двоих сыновей. Умер в глубокой старости и был похоронен в костеле реформаторов в Замостье.

ностями и значительную часть царских архивов. Вопрос о вывезенных документах поднимался С. А. Белокуровым. На его запрос А. Павинский отвечал, что в краковских и варшавских архивах их нет, о чем свидетельствуют описи, начиная с 1611 г. По словам польского архивиста, почти все историко-политические документы были переданы оттуда в Москву, в архив Министерства иностранных дел, сотрудником которого был С. А. Белокуров [2, ф. 23, карт. 20, ед. хр. 26, л. 1—2]. Изыскания последнего не привели к положительным результатам. В своей неопубликованной работе «О царской казне и документах, расхищенных поляками в Смутное время» он лишь заметил: «Поляки увезли с собою и значительное количество документов, что именно было похищено, — неизвестно..., и ни в одном источнике сведений не приведено» [2, ф. 23, карт. 3, ед. хр. 8]².

В наше время версия о вывезенных поляками документах принимается априорно [16, с. 10—12]. В. И. Гальцов, например, считает, что документы были вывезены в конце октября 1610 г. или в марте 1612 г. [17, с. 138] (см. также «Опись архива Посольского приказа 1626 года», составленную И. А. Голубцовым [7, ф. 276, оп. 2, ед. хр. 113, л. 58/163]). Однако представляется, что не следует делать столь категорические выводы о вывозе значительной части царского архива в Польшу. Ведь по договору 1635 г. вывезенные в «смутные годы» документы были возвращены через посла А. Львова. Примерный перечень их есть в статейном списке русского посольства 1635 г. Среди указанных бумаг не упоминались документы из архива Мнишков, как и вообще дела о самозванцах [18, л. 72; 1, ф. 79, кн. 34, л. 505 об., реестр 2, 1635 г., ед. хр. 4, л. 200—204]. Сравнительно недавно польские архивисты проделали огромную работу по розыску материалов, касающихся истории России. Микрофильмы выявленных источников были переданы в ЦГАОР СССР (Москва). По истории Смутного времени начала XVII в. найдены документы на польском языке и латыни. В большинстве своем они польского происхождения (списки посольств, дневники, воспоминания, отдельные заметки и пр.), поэтому не могли быть привезены из Москвы. Несколько писем Лжедмитрия I (и предназначенные польским адресатам, и полученные им) тоже не могут считаться вывезенными [19, п. 40, 57, др.].

Таким образом, поиски в архивах Польши не подтверждают гипотезы о разграблении царского архива поляками в начале XVII в. Вероятно, им некогда было интересоваться бумагами. Федор Андронов и Александр Гонсевский, которые верховодили тогда в Москве, занимались в основном разграблением казны [2, ф. 23, карт. 3, ед. хр. 8, л. 3—7] (см. также неопубликованную работу А. Ф. Малиновского «Сведения об увезенной поляками из Москвы царской короне» [2, ф. 203, п. 272, ед. хр. 1/3, л. 1—2 об.]). Если же что-то и было прихвачено, то в частном порядке, бессистемно и бесцельно. Это подтверждают описи документов Посольского приказа 1614 и 1626 гг., которые содержат немалое количество дел о самозванцах. Следовательно, они оставались не вывезенными в 1610—1612 гг. А между тем данные источники содержали ценный материал, компрометирующий и Лжедмитриев, и польско-литовских магнатов, и короля Сигизмунда III, и папскую курию [8, ч. 1, с. 111—113, ч. 2, с. 10—12].

Документы из собрания Мнишков вообще не могли быть среди вывезенных: адресованные членам этой семьи, они вряд ли находились в царских архивах. Исключение составляют лишь несколько дел: брачный договор (25 мая 1604 г.), допрос Хрущева (3 сентября 1604 г.), грамота Лжедмитрия I, адресованная Сигизмунду III, расписка Мнишка о получении денег, поименная роспись государственного совета (Боярской Думы) Лжедмитрия I [1, ф. 149, оп. 1, ед. хр. 5, 9, 23, 35; 6, ч. 2, № 81, 93, 120, 108].

Как могли эти документы попасть в семейный архив Мнишков?

Брачные обязательства Лжедмитрия I (25 мая 1604 г.) написаны рукою воеводы в Самборе, что он сам и признал. Однако, как нам представляется,

² По некоторым данным, поляки уничтожили часть пергаменных рукописей царского архива во время осады Кремля ополчением — варили из них съедобный клейстер [15, с. 5—6].

это не оригинал, а копия, снятая Ю. Мнишком для зятя, чтобы он «не забывал» о своих обещаниях. Оригиналы остались в Самборе и были написаны рукой мнимого сына Ивана Грозного. Нашу мысль подтверждает и «соборное послание российских владык» киевскому воеводе кн. В.-К. К. Острожскому (июнь 1606 г.), где говорится: «Да у того ж богоотступника и ростриги сыскан список с их злодейского с утвержденного письма, как он укрепился с Сендомирским воеводою, будучи у него в имени в Самборе, рука самого Сендомирского воеводы (т. е., написано самим Ю. Мнишком.— В. У.)» [20, с. 259—260]. На допросе перед боярами Ю. Мнишек заявил, что «были у них такие листы (т. е. указанный договор.— В. У.) по противным (копиям.— В. У.)» [5, с. 107]. Заметим также, что только этот документ из архива Мнишков фигурирует в описях Посольского приказа 1614 и 1626 гг. [4, с. 4, 9; 8, ч. 1, с. 111]. В ЦГАДА хранятся оба автографа.

Допрос Хрущева был послан Ю. Мнишку самим Лжедмитрием I. В нем передавались утешительные вести о скором крахе Годуновых и собственных победах. Грамота польскому королю, по-видимому, должна была быть вручена Сигизмунду III Ю. Мнишком. Возможно, она была приобретена Мнишками позже у королевского секретаря А. Боболи, который хранил все документы о сношениях Сигизмунда III с Лжедмитрием I [21, с. 35—36; 22, с. 11].

Расписка Ю. Мнишка о получении денег может быть копией с посланной зятю или же она просто не была отправлена. Наконец, список Боярской Думы был явно составлен кем-то из поляков для нужд Мнишка или других заинтересованных кругов Речи Посполитой. Об этом свидетельствуют язык (польский), характер письма (не каллиграфический, значит написанный не под диктовку и не простым переписчиком-секретарем, составлен в один прием), содержание (отсутствуют имена духовенства, русские придворные должности названы на польский манер) и время создания (10—13 апреля 1606 г.) списка.

Указанные пять дел не могли попасть к Мнишкам позже мая 1606 г. В обвинительной грамоте Василия Шуйского против Лжедмитрия I (июнь 1606 г.) они не используются (кроме № 1 по списку Мнишка), в отличие от других документов, найденных в палатах Самозванца. Между тем расписка Ю. Мнишка и грамота Сигизмунда III могли послужить яркими примерами расточительности Лжедмитрия I. А список Боярской Думы вообще было выгодно уничтожить, ибо он компрометировал самого царя Василия Шуйского и всех остальных русских вельмож. Следовательно, данных четырех документов и оригинала брачного договора уже в середине мая 1606 г. (до смерти Лжедмитрия I) в Кремле не было.

Другие автографы из архива Мнишков тоже находились в Польше. В обвинительном акте Шуйского не были использованы: запись о выдаче 1 млн. золотых вследствие заключения брака с Мариной (24 мая 1604 г.)³ — сведения о пожаловании Марине в вечное владение Новгородской и Псковской земли в обвинении приведены; грамота на передачу Северщины и Смоленщины Мнишку и Сигизмунду III (12 июня 1604 г., Самбор); перечень северских городов, описанных Дмитрием Ю. Мнишку [1, ф. 149, оп. 1, ед. хр. 1—3; 6, ч. 2, № 76, 79]. Эти документы, безусловно, могли бы послужить вескими доказательствами против Самозванца в руках Шуйского. Но они находились в Самборе. Ю. Мнишек на допросе перед боярами говорил, например, что расписка Лжедмитрия I (на польском языке) о передаче Смоленска и Северщины воеводе с позволением ввести там католицизм находится «в Польши в имену» [6, ч. 2, с. 313; 5, с. 114; 22, с. 260].

Таким образом, на основании иска Й. В. Мнишка 1736 г. удается установить происхождение 35 документов в фонде о самозванцах ЦГАДА. Выясняется также, что все они были фамильной собственностью Мнишков.

³ На этом документе есть приписка: «В пятницу, на другой день праздника Успения пресвятыя Девы Марии, лета господня 1668 рукопись сию провинциальный королевский главный надзиратель Лаврентий Каткевич Соноклеский представил для приобщения к делам староства. Принято и записано» [14, ч. 1, прил. 5, с. 81—82].

Документы о Лжедмитрии I попали в их архив до мая 1606 г., другие же — в порядке отправления адресатам.

Любопытно, что в рукописном отделе Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника АН УССР сохранилась рукопись, которую интересно сравнить с указанным делом Й. В. Мнишка. Предисловие ее содержит объяснение графа Ф. К. де Левенвольде, что прилагаемые документы были поданы маршалком Мнишком вместе с претензиями русскому двору «для лучшей веры» 14 октября 1732 г. в Варшаве. Далее, через несколько пустых листов, перечисляются дела, упоминаемые в иске Мнишков (расписка Ю. Мнишка о получении от Я. Бучинского 6000 золотых червонцев; письма Марины отцу — 1609 г.; статьи обид, причиненных Россиею Польше и Мнишкам, представленные на сейм) и отсутствующие в приложенном к нему перечне (грамота Я. Бучинскому об отправке Мнишку 5000 червонцев от 23 февраля 1606 г.; письмо Ю. Мнишка с жалобой на А. Власьева и благодарностью за деньги — 4 апреля 1606 г.; письмо Ю. Мнишка от 7 апреля 1606 г. с повторной благодарностью за деньги и сетованием на долги королю — 8 апреля 1606 г. [11, кол. Оссолинск. 2431/II, л. 1 об., 4, 7—8 об., 16; 1, ф. 149, оп. 1, ед. хр. 35, 42, 47, 48, 55, 65—67, 69; 6, ч. 2, № 120, 127, 60, 133—135, 171, 173, 178, 187].

Самым первым приведен документ, не названный в иске маршалка, — письмо Ю. Мнишка Лжедмитрию I из Кракова от 25 декабря 1605 г. об одолжении у купцов от имени царя денег и товаров на сумму в 26 400 злотых [11, кол. Оссолинск. 2431/II, л. 4; 6, ч. 2, с. 241—245]. Затем полностью приводится текст письма Лжедмитрия II от 14 октября 1608 г.; письмо короля Станиславу Бонифицию Мнишку от 16 апреля 1615 г. о том, что возвращающиеся из Москвы пленные разоряют королевские владения. В отрывках на нескольких листах подается материал С. Б. Мнишка, касающийся Лжедмитрия I (без даты). В нем выясняются родственные связи и излагается просьба о посредничестве. В конце помещены: мемориал Ю. Мнишка о необходимости освобождения заключенных в Москве; реестр сумм, посылаемых Мнишку. Есть здесь также интересная схема росписи палат сценами из истории Лжедмитрия I [11, кол. Оссолинск. 2431/II, л. 5, 6 об., 9, 10 об., 12, 12об., 14, 14об., 10, 13 об., 18—24, 11] ⁴.

Трудно восстановить историю львовской рукописи. Определенно можно сказать, что она не является копией дела Й. В. Мнишка или чем-то в этом роде, ибо содержит в основном документы, отсутствующие в нем. По-видимому, перечисленные в рукописи источники были представлены Мнишками русскому послу в качестве доказательства своих претензий на наследство предков несколько ранее (1732) оформления пространного иска Й. В. Мнишка (1736). Оставленные в 1732 г. у Левенвольде документы не попали в дело маршалка. Позже оригиналы перечисленных в львовской рукописи документов были возвращены в фамильный архив Мнишков. Левенвольде сделал для себя копии: львовская рукопись представляет собой искусно сделанное факсимиле документов (они скопированы путем наложения тончайшей прозрачной бумаги на оригинал и обведены чернилами) ⁵.

Изучение фамильного архива Мнишков могло бы значительно помочь в наших поисках, но он не сохранился полностью и разрознен по архивохранилищам Киева, Львова, Польши, Франции [27]. Это способствовало утверждению мнения, что после 1736 г. в семейном архиве Мнишков больше не осталось никаких документов, касающихся Смутного времени. Только Н. И. Костомаров в 1845 г., надеясь найти что-то новое, пытался добиться разрешения у К. Ф. Мнишка исследовать архив. Однако его не

⁴ Такая же схема находится во Вроцлавской библиотеке Оссолинских за № 2686, карт. 10 [23, с. 113]. К. Кантецкий считал, что приведенный чертеж является схемой украшения царских палат в Москве, и предполагал, что примечания, сделанные на львовском списке карандашом, похожи на собственноручные заметки Ю. Мнишка [24, с. 269; 25]. М. Генбарович утверждал, что схема создана в конце 1613 — начале 1614 г. после смерти Ю. Мнишка по заказу Фр. Мнишка и, возможно, для замка в Лашках [26, с. 62—69, 148—157].

⁵ По сведениям К. Кантецкого, документы 1—3 находятся в собрании автографов библиотеки Оссолинских (см. № 39, 40, 2438) [24, с. 266].

допустили ни к архиву, ни к библиотеке Вишневецкого замка [28, с. 55—56]. Все же историк оказался прав: описи архива Мнишков второй половины XVIII в. показывают, что и после неудачной попытки И. В. Мнишка получить компенсацию из России в фамильном собрании еще оставались некоторые ценные документы о Смуте. Так, в общей описи архива 1761 г., под № 23 значатся «Документы или бумаги к делу Мнишков о обязательствах Дмитрием, царем московским, жене своей из дома Мнишков записанных, разные в этом деле примеры, старанием И. В. маршалка В. К. Мнишка собранные» [11, кол. Оссолинск. 5771/III, л. 7]. В реестре демблинского архива Мнишков 1762 г. зафиксировано, что в томе 20 («И») были собраны «Бумаги к интересу московскому принадлежащие, то есть документы царя Московского Дмитрия... и другие в подтверждение того интереса двору русскому в разное время предъявленные» [10, ф. 250, оп. 2, ед. хр. 180, л. 27об.]. Почти идентичный по содержанию том документов аннотируется в описи вишневецкого архива 1783—1786 гг. [10, ф. 250, оп. 2, ед. хр. 184]. В реестре дукельского архива 1770 г. тоже значился целый том (97) «Документов, обосновывающих претензии Мнишков на московскую империю, документы Дмитрия императора Московского» [10, ф. 250, оп. 2, ед. хр. 181, л. 126].

В описях кратко аннотировалось содержание документов. Так, в реестре демблинского и вишневецкого архивов названо обязательство Лжедмитрия II (14 ноября 1606 г.) на выдачу 300 тыс. руб. Ю. Мнишку [10, ф. 250, оп. 2, ед. хр. 180, л. 27 об., ед. хр. 184, л. 536]. В инвентаре дукельского архива перечисляется целый ряд документов и их копий. Это в основном неизвестные письма Ядвиги Гарло Самозванцу (март, 20 июля 1605 г.), Лжедмитрия I Марине, Юрию и Стапиславу Мнишкам (13 августа, 12 октября 1605 г.; 4 и 12 февраля 1606 г.; в копиях 1668 г. — обязательства от 25 мая и 12 июня 1604 г.); Яна Бучинского Ю. Мнишку (21 октября 1605 г.); королевского референдаря Ю. Мнишку (12 февраля 1606 г.); Ю. Мнишка царю В. Шуйскому (24 августа 1607 г., копии четырех писем 1608 г.); польских послов Сигизмунду III (1608); Лжедмитрия II Ю. Мнишку (4 октября 1608 г., 12 и 13 января 1609 г.); Марины Мнишек брату (1609); Сигизмунда III Станиславу Мнишку (10 апреля 1615 г.); реестр слуг Марины (1608) [10, ф. 250, оп. 2., ед. хр. 180, л. 27 об. — 28, ед. хр. 181, л. 126—129, ед. хр. 184, л. 536—538].

В настоящее время местонахождение большей части названных документов выявить не удалось (исключая оригиналы в ф. 149 ЦГАДА, копии которых упоминались в описях). Отметим, что во всех выше означенных архивах находились лишь копии указанных документов, собранные в отдельные тома. По данным К. Годаевского и К. Каптецкого, еще в 1862—1878 гг. в собрании автографов Оссолинских находилось четыре оригинальных документа начала XVII в. из архива Мнишков (письмо Лжедмитрия I к Ст. Мнишку от 13 августа 1605 г., письмо Лжедмитрия II к Ю. Мнишку от 14 октября 1608 г., письмо Марины Мнишек к отцу от 13 января 1609 г. [11, автогр. Оссолинск., № 39, 40, 2438]; письмо Сигизмунда III к С. Б. Мнишку от 16 апреля 1615 г.). В наше время сохранилось только письмо Лжедмитрия II 1608 г. [29, с. 262—264]. Среди документов Мнишков в Киеве есть лишь копии документов о заключении брака Марины Мнишек с Лжедмитрием I и описание картин Вишневецкого замка с портретами Самозванца, Марины, сценами въезда в Москву, коронации, сделанное Яном Котевским [10, ф. 250, оп. 1, ед. хр. 4].

Таким образом, после 1732—1736 гг. в архиве Мнишков еще оставались оригиналы и копии документов, касающихся Лжедмитрия I и Смуты в целом, которые были утрачены в конце XVIII—XIX вв. Но это была все же незначительная их часть. Основное собрание документов о Смуте было передано в Россию в 1736 г. как доказательство претензий на наследство. Именно они и составили большую половину документов о самозванцах в фонде 149 ЦГАДА, историю происхождения которых позволило установить дело И. В. Мнишка.

Оставшаяся группа источников [1, ф. 149, оп. 1, ед. хр. 11, 18с, 21, 22, 27, 28а—с, 31, 32, 33, 38—40, 42, 43в—с, 46—48, 50а—в, 51; 6, ч. 2,

№ 104, 112, 115, 91, 117, 119, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 133—135, 137—139; 4, с. 182—183; 13, с. 16—17] либо была найдена в палатах Лжедмитрия I после его смерти, но не использована Василием Шуйским в обвинительном акте и лишь суммарно упоминалась в описях Посольского приказа 1614, 1626, 1632 гг., либо попала в архив в 1794—1801 гг. Из них только один документ должен был находиться в фамильном архиве Мнишков — это письмо Лжедмитрия I сандомирскому воеводе с просьбой ускорить проезд в Москву. Однако оно датируется 22 апреля (2 мая) 1606 г. [1, ф. 149, оп. 1, ед. хр. 50а, ф. 184, оп. 1, ед. хр. 137, л. 264; 6, ч. 2, № 137]. В это время брачный поезд Мнишков направлялся к русской столице. Письмо не было отправлено в Самбор, а осталось при воеводе и было изъято у него вместе с другими вещами во время восстания 17 мая 1606 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Центральный государственный архив древних актов.
2. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, отдел рукописей.
3. *Бантыш-Каменский Н. Н.* Переписка между Россиею и Польшею по 1700 год. Т. 2. М., 1862.
4. Сборник императорского Русского исторического общества. Т. 137. М., 1912.
5. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею имп. Академии наук. Т. 2. СПб., 1836.
6. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Коллегии Министрства иностранных дел. Ч. 1—2. М., 1819.
7. Архив Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР.
8. Опись архива Посольского приказа 1626 года. Ч. 1—2. М., 1977.
9. *Черепнин Л. В.* «Смута» в историографии XVII века. — В кн.: Исторические записки. Т. 14. М., 1945.
10. Центральный государственный исторический архив УССР. Киев.
11. Львовская научная библиотека АН УССР им. В. Стефаника, отдел рукописей.
12. *Бантыш-Каменский Н. Н.* Обзор внешних сношений России (по 1800 год.) Ч. 3. М., 1897.
13. *Щербатов М.* История российская от древнейших времен. Т. VII, ч. 3. СПб., 1904.
14. *Бутурлин Д.* История Смутного времени в России в начале XVII в. Ч. 1, кн. 1—2. Ч. 2. СПб., 1839, 1841.
15. *Brückner A.* Tragedya Moskiewska. Szkice historyczne. Kraków, 1901.
16. *Черепнин Л. В.* Русские феодальные архивы XIV—XV вв. М.—Л., 1948.
17. *Гальцов В. И.* Архив Посольского приказа во второй половине XVI — начале XVII в. — Археографический ежегодник за 1981. М., 1982.
18. Государственный исторический музей СССР, отдел письменных источников, ф. 231, ед. хр. 8—9.
19. Центральный государственный архив Октябрьской революции, социалистического строительства и высших органов государственной власти СССР, КМФ — 6 (Польша), За — 33, оп. 1.
20. Дополнения к актам историческим, относящимся к России, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. I. СПб., 1846.
21. *Бодянский О.* О поисках мош в Познанской библиотеке. — Чтения в имп. Обществе истории древностей российских. Кн. I. 1864.
22. Летопись занятий Археографической комиссии. Вып. IV. Протоколы. СПб., 1868.
23. *Inwentarz rękopisów Biblioteki zakładu Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu.* Т. I. Wrocław, 1948.
24. *Kantecki K.* Z archiwum Mniszchów. — Ateneum, 1878, № 2—3, s. 259—265.
25. *Szkice i opowiadanie.* Poznań, 1883, s. 292—356.
26. *Gębarowicz M.* Początki malarstwa historycznego w Polsce. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1981.
27. Мнишки: указатель архивных материалов и библиографии / Сост. В. И. Ульяновский. Киев, 1989, 148 с.
28. *Костомаров Н. И.* Литературное наследие. СПб., 1890.
29. *Godebski X.* Archiwum Mniszchów. — Biblioteka Ossolińskich. Т. I. Lwów, 1862.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

ПЛОХИЙ С. Н. Папство и Украина. Политика римской курии на украинских землях в XVI—XVII вв. Киев, 1989, 222 с.

Тема, которой посвящена книга С. Н. Плохия, становится все более актуальной и в связи с обострением так называемого «униатского вопроса» и потому, что приближается 400-летие Брестской унии 1596 г. Однако не только данные обстоятельства делают своевременным и важным исследование о политике Ватикана на Украине в XVI—XVII вв. Эта тема имеет громадное научное значение, хотя и остается одним из пресловутых «белых пятен» отечественной истории и историографии. Правда, существование такого «белого пятна» вряд ли заметно неискушенному читателю как солидных академических обобщений истории восточных славян в XVI—XVII вв., так и пропагандистски-популярных книг по истории Брестской унии и униатства. В том и другом случае поддерживается иллюзия, будто в истории унии и униатов все предельно ясно. Господствующая и, прямо скажем, официозная точка зрения состоит в том, что уния есть форма католической агрессии, результат злых происков Ватикана и иезуитов, поддержанных несколькими продажными православными иерархами; что униатство насаждалось на Украине и в Белоруссии исключительно насильственно, не находило поддержки в обществе и не привнесло в украинско-белорусскую общественную жизнь ничего, кроме вреда, интриг и дестабилизации. Одним словом, уния представлена как форма феодально-католической реакции на Украине и в Белоруссии. Книга С. Н. Плохия — и в этом видится ее главная ценность — позволяет усомниться в справедливости некоторых компонентов такой концепции.

С. Н. Плохий первым среди советских историков мобилизовал для исследования обширные публикации документов Ватиканского архива, а также широкий круг новейших исследований по истории унии и политики Ватикана на Украине. Это,

а также известная непредвзятость подходов и оценок позволили автору по-новому и аргументированно осветить многие стороны и повороты папской политики на Украине в XVI—XVII вв.

Политика римской курии на Украине прослежена от момента появления первых унионных проектов в XVI в. до событий Освободительной войны 1648—1654 гг. Первые две главы книги (предыстория Брестской унии, ее заключение и религиозно-политическая борьба в последние годы XVI — начале XVII в.) менее оригинальны и новы для отечественной историографии, чем две другие, посвященные внутренней истории униатской церкви, отношениям униатов и православных, проектам универсальной унии в 30—40-е годы XVII в. и кризису папской политики на Украине в годы Освободительной войны.

Анализируя унионные проекты знаменитого иезуита и папского дипломата А. Поссевино, автор делает акцент не столько на политической интриге, «выплетенной» А. Поссевино, сколько на его плане завести в восточнославянских землях католическое книгопечатание на церковнославянском языке и создать коллегию для обучения местной молодежи. Автор считает, что к середине 80-х годов XVI в. «завершилось формирование контрреформационной программы папства на украинских землях», однако попытка ее осуществить в те годы оказалась безрезультатной. Поэтому «во второй половине 80-х годов наблюдается определенная приостановка реализации унионистских планов папства на Украине и в Белоруссии» (с. 40—41). В целом подобное наблюдение справедливо и подтверждено теми материалами, которые привлекает С. Н. Плохий, но не правильнее ли было бы сказать, что рассчитывать на успех такой политики не приходилось до тех пор, пока среди самого украинско-

белорусского духовенства не наметилось встречное стремление к унии и пока польская иерархия не включилась в подготовку объединения двух церквей? В рассмотренные унионные планы Скарги, Гербеста, Поссевино, позиций варшавской нунциатуры автор, опираясь на изданные в послевоенные годы источники из архивов Ватикана, внес некоторые новые акценты, но в целом ему пришлось повторять многое из уже известного. Вместе с тем могли бы быть полнее объяснены главные принципы и идеологические основы контрреформационной политики папства на христианском Востоке, особенности флорентийской унионной программы по сравнению с предшествующими аналогичными программами, например, программой Лионского собора 1274 г., связь идеи воссоединения христианства в XVI в. с религиозно-экуменистическими надеждами зрелого гуманизма. Вряд ли желанием заключить церковную унию исчерпывает содержание контрреформационной программы папства на Украине (с. 40).

Обратившись к вопросу о роли папства в заключении Брестской унии, С. Н. Плохий справедливо подчеркивает связь этого события с учреждением патриаршества в Москве, на что обычно не обращалось внимания в советской историографии. Московская патриархия имела все основания поставить со временем вопрос о распространении своей юрисдикции на Украину и Белоруссию, Брестская же уния превентивно предотвращала такие демарши. Существенно и то, что автор ставит вопрос об униатских тенденциях в среде православных иерархов (с. 44 и сл.). Правда, следует отметить, что у последних не было единой программы унии. Для Ипатия Потия, например, уния означала нечто иное, чем для Кирилла Терлецкого.

С. Н. Плохий сделал важный шаг в сторону от привычного мнения о решающей роли католиков в подготовке Брестской унии. Из соответствующих разделов книги ясно следует, что «в конце 80-х годов XVI в. папская дипломатия скептически относилась к возможности заключения церковной унии на территории Речи Посполитой» (с. 46), что и в то время и позднее папскую курию не оставляла надежда на заключение всеобщей, «универсальной» унии, которая положила бы конец многовековой схизме православных и католиков (с. 49, 107, 108, 112, 139 и сл.). Очень существенно, что поставлен вопрос о социальной опоре униатов в украинском обществе и в Речи Посполитой в це-

лом. Однако убедительного ответа на него пока нет. Хотя С. Н. Плохий отмечает, что для осуществления унии «не в последнюю очередь» была необходима поддержка православной иерархии, нельзя считать доказанным мнение, будто причины принятия унии частью духовных и светских феодалов «носили прежде всего политический характер» (с. 98). Равным образом трудно принять суждение о большом значении для заключения унии близости социальных интересов «части украинско-белорусских феодалов и их польских и литовских собратьев» и о том, что «по мысли православных феодалов, уния должна была уравнивать их в правах с католическими епископами, магнатерией и шляхтой, открыть путь в сенат..., к высшим должностям в государстве» (с. 98). Применительно к светской шляхте и магнатам это заведомо неверно. Не убеждает и попытка объяснить обращение к унии «не только идеологической, но и политической бесперспективностью православия» в глазах украинских феодалов. Почему в таком случае не вся шляхта Украины поддержала унию? Отметим также, что объяснение автором позиций шляхты, магнатов и духовенства, оставшихся верными православию (с. 99), противоречит данной им ранее интерпретации поведения тех, кто поддержал унию. Эти неувязки возникают, в частности, потому, что вопрос о социальной базе униатского и антиуниатского общественных движений неразрешим без учета отвергаемых автором книги конфессиональных мотивов, которые, видимо, были производной от степени полонизации той или иной группы шляхты. Нужно иметь также в виду, что и униаты и православные решали, в сущности, одну задачу: вывести православную украинско-белорусскую церковь из кризиса и предотвратить рост реформационных настроений в православной пастве. Униаты предложили один вариант решения проблемы, православные — другой.

Третья глава посвящена взаимоотношениям униатов и созданной в 1622 г. при римской курии Конгрегации пропаганды веры, а также внутренней истории униатской церкви. В этом книга восполняет заметный пробел советской историографии. С. Н. Плохий вслед за Е. Ф. Шмурло подчеркивает, что позиции униатов в начале 20-х годов XVII в. — как и в конце XVI в. — были очень шаткими. И не только из-за сопротивления православных, но и потому, что польская католическая иерархия расценивала в эти годы

унию как ошибку и призвала вернуться к прямой пропаганде католического вероучения среди православного населения. Уния оказалась меж двух огней и пережила эти трудные для себя годы исключительно благодаря активной поддержке Ватикана. Но и в униатско-ватиканских отношениях, как показывает автор, не было полного согласия. Рим выступил против идеи совместного собора православных и униатов в 1629 г., предпринял попытку форсировать «латинизацию» унии и ограничить автономию униатского духовенства. Важно отмеченное автором сочетание черт латинской и православной традиций в Базилианском ордене, который стал остоном всей униатской церкви и обычно воспринимается как полный аналог ордена иезуитов, что не вполне верно.

С. Н. Плохий уделяет много внимания попыткам создать униатскую семинарию и направлению униатской молодежи на обучение в папские коллегии и алюмнаты за пределами Украины и Белоруссии. Заметим, однако, что дело не сводилось только к подготовке униатского духовенства; речь шла и о более широких образовательных программах. Характерна показанная в книге конкуренция между униатами и иезуитами на почве их параллельных просветительских усилий. Это, кстати, лишней раз указывает на невозможность безоговорочного отождествления унии с католической экспансией.

Чрезвычайно важны и интересны те страницы книги, на которых речь идет о проектах создания единого патриархата, призванного объединить православных и униатов (с. 130 и сл.), и связанных с этими проектами попытках вернуться к идее универсальной унии. Вновь мы видим, что уния была нацелена не столько на объединение с католицизмом и подчинение Риму, сколько на обретение статуса срединной силы между Римом, Москвой и Константинополем. Кроме того, проекты универсальной унии 30—40-х годов XVII в., поддержанные частью православной иерархии, в том числе самим митрополитом П. Могилой, а позднее С. Косовым, а также факт обращения в унию М. Смотрицкого, К. Саковича, К. Транквилиона-Старовецкого показывают, что возникновение унионных тенденций среди православного духовенства не было случайностью, порожденной особой конъюнктурой церковно-политической жизни, и что вопрос о преодолении кризиса украинско-белорусского православия на путях объединения с като-

ликами сохранял свою актуальность и в XVII в.

С. Н. Плохий убедительно демонстрирует, что судьба униатской церкви теснейшим образом зависела от развития социально-политических конфликтов на Украине. Обострение классово-политической борьбы, давление и успехи казаков ставили под сомнение сам факт существования унии. Усиление и успехи польской стороны, напротив, укрепляли ее позиции.

В последней главе С. Н. Плохий рассматривает политику папской курии на Украине в годы Освободительной войны 1648—1654 гг. Эта политика, а вместе с ней будущность унии напрямую зависели от хода военных действий и политической борьбы в Речи Посполитой. Папство сделало все от него зависящее для спасения унии, в то время как польское правительство готово было пойти на ее ликвидацию. В книге весьма убедительно показано, что так называемой Ужгородской унии в действительности не было, а имело место лишь использование двумя мукачевскими епископами религиозного союза с Римом в ходе борьбы со светскими феодалами. Важен для нашей историографии вывод автора о существовании в украинском обществе в середине XVII в. двух группировок в решении вопроса об унии — казацко-старшинской во главе с Б. Хмельницким и другой, «опирающейся на поддержку показавшейся шляхты» во главе с митрополитом С. Косовым (с. 201). Однако вряд ли можно считать доказанным тезис о постоянном подчинении религиозных требований политическим в ходе Освободительной войны и о том, что в основе религиозной политики Б. Хмельницкого всегда лежали «соображения военно-политического характера». Равным образом трудно согласиться с тем, что внимание Б. Хмельницкого и его окружения к религиозным вопросам было продиктовано в первую очередь утилитаризмом (с. 162). С. Н. Плохий солидаризируется с мнением И. П. Крипякевича, что лозунг защиты веры был «внешней оболочкой, под которой... скрывались стремления народных масс к освобождению как от социального, так и от национального гнета» (с. 159). Строго говоря, субъективная сторона социальных конфликтов середины XVII в., восприятие участниками Освободительной войны происходящих событий и целей начавшегося движения — практически не затронутая исследованиями область истории. Скорее всего, массовое сознание казачества, крестьянства,

горожан было не слишком отчетливым и вряд ли глубоко идеологизированным.

Книга С. Н. Плохия вносит много нового в осмысление папской политики на Украине, истории униатства и религиозно-политической борьбы XVI—XVII вв. в Речи Посполитой. Взгляд автора на украинскую политику Ватикана в XVI—XVII вв. свободен от многих (хотя не всех) стереотипов, присущих советской историографии данной проблемы. Это касается прежде всего выявления существеннейших разногласий между униатами и польской католической иерархией, а порой — между униатами и Римом. Чрезвычайно важной и перспективной представляется постановка вопроса о тяготении к унии в православной среде как в конце XVI в., так и на протяжении первой половины XVII в., среди высшего духовенства и в более широких слоях об-

щества. Автор отказывается от отождествления контрреформации и католической реакции, показывает, что большое место в унионных проектах и политике папской курии и униатов на Украине занимали вопросы образования, просвещения, пастырской работы среди населения. Он продемонстрировал известную гибкость политического курса Ватикана на Украине и не раз возникавшие противоречия между позицией римской курии (или Конгрегации пропаганды веры) и польской католической иерархии в отношении к унии и униатам. Одним словом, намечено немало исследовательских перспектив, разрабатывая которые можно дать более объективную и адекватную, чем имеющаяся ныне, концепцию истории унии и униатства на Украине.

Дмитриев М. В.

ЦВЕТАНА ЧОЛОВА. Естественнонаучные знания в средневековна България. София, 1988, 401 с.

ЦВЕТАНА ЧОЛОВА. Естественнонаучное знание в средневековой Болгарии

Держу в руках великолепно оформленную, солидную как по количеству ссылок на источники, так и на опубликованную литературу книгу Ц. Чоловой. Как это ни парадоксально, данная книга задержалась в своем выходе. Она, безусловно, необходима, как некое естественное основание (обоснование), без которого невозможно знание о прошлом. Вернее, эта книга неизбежна. Как некое начало. Но вышла она тогда, когда в славянском «историческом мире» (Россия) уже было сделано нечто подобное (см. [1]). Иначе говоря, она при всей неизбежности уже устарела для этого мира (но не для самой Болгарии!) еще до своего появления (парадоксы исторической науки, изучаемые историографией истории науки). Не стоит терять времени на аннотацию данной работы, на похвалы, вполне заслуженные автором, поднявшим и обобщившим огромный материал. То, что, бесспорно, в своем анализе оказывается скучным. Куда важнее ввести читателя в круг полемики, круг проблем, сомнений...

Первое, в чем я не согласен с автором, заключается в том, что она, идя за Т. И. Райновым, считает необходимым

показать только «рациональное» (научное), очищая его от всего «лишнего» (в книге — церковного). Это, скорее, беда нашей научной традиции, породившей искажающий реальность метод, который мы считаем универсальным: вычленение части из целого. При этом мы безвозвратно теряем реальность единого, его неповторимость, т. е. теряем, «всего-навсего», Мир! Пора уже задуматься над тем, что, быть может, не вычлененный нами из единого целого предмет (каким бы сверхрациональным и сверхнаучным он ни казался), а сама «окружающая среда» или формирующий тот предмет весь Мир истории и есть то главное, что должен изучать любой историк. Мы пока не готовы к революции в сознании: принять, что именно природа, то, что окружает человека естественным образом, более важно и значительно, чем сам человек. Чтобы породить нечто (например, человека), необходимо другое нечто, зачастую гораздо более сложное, нежели порожденное. В истории мы можем найти материал для эксперимента на эту тему: вероятно, то, что историк по традиции называет рациональным (научным), становится им постольку, поскольку на-

ходило в среде иной, более сложной, чем сама наука. А мы традиционно вычленим из общего частное-научное и возносим его на пьедестал. Наука в принципе весьма агрессивна, и зачастую историки ее сами не замечают, как оказываются не анализирующими ее глашатаями. Вероятно, стоит написать историю «нерациональности», которая породила научное, будучи гораздо сложнее этого научного, ибо было чем-то Целым. То, что автор называет рациональным, могло им стать лишь при наличии отброшенного автором нерационального.

Еще одна очень важная, сложная и нами, историками науки и знания, до конца не решенная проблема: соотношение содержания понятий «наука», «научные знания», «естественнонаучное знание», «естествознание»... Это — своего рода лабиринт. Естественней было бы понимать под «естествознанием» вообще естественное знание, не связанное напрямую с наукой; знание, порождаемое контактами человека с миром природных явлений. Это знание самим носителем не осознается, тем более как научное. Идея по традиционному пути пересказа того или иного произведения, наличествующего в данной культуре, автор рецензируемой книги слишком мало внимания уделяет этому естественному знанию. Разумеется, это крайне сложно, и научное здесь тоже отыскать почти нельзя. Вот почему работы подобного рода превращаются в одну большую аннотацию средневековых трактатов.

Мы привыкли к слову «наука», и видим за ним вполне определенное, современное содержание, некий понятный нам образ. И потому постоянное употребление в тексте словосочетания «средневековая наука» для массового читателя, несмотря на некоторые, быстро забывающиеся разъяснения («хотя и условно...»), все же способствует закреплению неверного образа в отношении той эпохи. Происходит незаметное, но постоянное осовременивание прошлого в нашем сознании. И «наука» превращается в руководящий принцип при вхождении в мир средневековья.

«Средневековая наука», вероятно, тоже базировалась на «рациональности», т. е. занималась все тем же научным препарированием действительности, и потому ученые нашего «сегодня» видят в ней «собрата». Иначе ей наукой и не быть! Но это означает, что уже тогда реальность наличного мира была положена на плаху научного метода, крайне агрессивного

именно в своем становлении, в своих началах.

Ц. Чолова, естественно, рассматривает естествознание в системе средневековой науки, считая, что иначе чем через науку его не понять. Хотя на самом деле знание о естественном может быть понято *вообще*. Итак, для автора наука есть тот «прибор», при помощи которого она может изучать естествознание. И тут я не согласен с тем, что «связь между теоретическими и практическими знаниями трудно установить» (с. 381). Не согласен в том смысле, что такая связь вряд ли должна быть предметом исследования. Именно исходя из этого тезиса, автор и игнорирует преимущественное изучение практических знаний. Так принятый наукой метод зачастую искажает реальную историческую действительность. То, что возможно в естественных науках, в исторической науке становится анахронизмом. Поэтому моя критика обращена прежде всего не к рецензируемой работе, а к самому методу. Рассматривая естествознание в системе науки, мы тем самым, хотим этого или нет, оставляем за чертой размышлений то, что называется «практическим знанием» (что уж тут говорить о знании личностном, об интуитивном). Итак, автор, как человек науки, видит в средневековье свое и именно это-то и рассматривает, т. е. ищет и изучает *похожее, знакомое*, отбрасывая все «нерациональное»-ненаучное. Между тем, вероятно, естественное знание о естественном развивается как бы само по себе, вне средневековой науки. Если мы фиксируем вслед за Ц. Чоловой отсутствие связи между теоретическим и практическим (при единстве самой Реальности, Жизни, в которых находились те самые искомые знания в своей разобщенности или, так сказать, в своем разобщенно-едином виде), то, может быть, науку и научное надо видеть там, где эта связь есть? Человек средних веков, созидая нечто, реализуя на практике свои знания, мог предаваться «теории», чтению, но это никоим образом не соединилось. Разве от этого единое Бытие исчезало? Разве жизнь переставала быть Единой? Вся проблема (я понимаю ее сложность) в том, как история науки может, не потеряв всего Мира, отразить свой предмет? Или же его вовсе нет в таком традиционном виде? Если рациональное знание то, что реализуется на практике для получения определенного результата, то тогда история знания оказывается совершенно иной.

Жизнь есть жизнь все же тогда, когда ее не уродует анализ. Можно писать для «внутреннего употребления» своего сообщества (например, историков науки). Но если писать для человека вообще, то надо писать *абсолютно не так!* Надо описывать жизнь такой, какой она была, принимая как истину, что читатель сам воспримет то, что надо, ибо он примет жизнь именно таковой, вне анализа. Обыденное сознание обладает тем, что научное потеряло. Для обыденного сознания рациональность именно в наличии самого действия, а не в его анализе. Анализ являет схему, механизм, каркас. А наличие есть *реальное единство*. Автор указывает, кому предназначена книга: историкам и историкам науки. Значит, книга сугубо специальная. Она не обращена к тем, кто изучает естественное знание. Так цель определила и содержание, и средства, и приемы подхода к материалу. При такой задаче многое остается в стороне, и автор его лишь бегло касается. Ибо там нет науки. И так, не там ли наука, где есть связь теоретического и практического?

Целостность науки средних веков не в ее очищенности, а именно во включенности во все живое историческое «пространство». И тут я не согласен с тезисом, который у автора становится как бы общезначимым: «Наука есть явление культуры» (с. 381). Была ведь и культура палеолита, но разве она породила науку?

Исходя из поставленной задачи, Ц. Чолова, чтобы определить науку, определяет культуру (какова культура — такова и наука). Именно отсюда идет сравнение культур Византии, арабского мира, Западной Европы, балканских и славянских стран. Причем «о средневековой науке и естествознании в Болгарии можно говорить лишь после принятия христианства и восприятия определенной по типу византийской культуры» (с. 382). Пусть наука оказывается таким образом «пришлой». Но в каком соотношении она оказалась с тем естественным знанием, которым обладает Человек, суций в мире природы и ее явлений? Не надо забывать, что античное наследие пришло в славянский мир как нечто чуждое, ставшее символом веры, подкрепляющим постулаты христианства. И тогда предметом

исследования должен оказаться сам процесс трансформации этого наследия, а не пересказ содержания многочисленных трактатов, столь далеких от практики жизни. Усвоив византийское наследие, пишет автор, Болгария как бы этапировала его далее, в славянский мир: «...обосновывается общеславянское значение средневекового болгарского естествознания» (с. 383). Что имеется в виду? Теоретический трактатизм? Если да, то отчасти верно. Если же речь идет о реальном знании, то тогда картина совершенно иная. Знание может быть разным. Причем основное получали именно естественным путем, вне «писаний». Сама Ц. Чолова отмечает, что литература того времени «не имела зачастую конкретного практического значения» (с. 386). Идя вслед за Т. И. Райновым, автор все же чрезмерно преувеличивает значение этой «теоретической» компоненты в развитии знания.

Ц. Чолову интересуют прежде всего проблемы философии, естествознания и космологии, которые «отвечали состоянию науки в других цивилизованных странах» (с. 387). Значит, книгу определяла некая политизированная цель, некая идея сравнения и соответствия. В те немногие моменты, когда автор пишет о знании в области животного мира и мира растений, мы сталкиваемся с фразами, ставшими скорее «историческими лозунгами»: «это говорит о знаниях в области», «для этого надо было знать...». Не думаю, что такая краткая констатация удовлетворит любознательность читателя, ожидающего показа, *как именно* эти знания были получены и как они реализовывались.

Таким образом, содержание и принципы подачи материала в рецензируемом исследовании запланированы, вероятно, уже некоей традицией самой исторической науки. Хорошо изданная, книга оказалась своего рода справочником по текстам средневековых болгарских трактатов. Книга Ц. Чоловой «академически солидна». Это и ее плюс, и минус нашей традиции.

Кузаков В. К.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Райнов Т. И. Наука в России XI—XVII веков. М.—Л., 1940.

Вышедший в Мюнхене в издательстве «Заур» справочник немецких биографических справочников [1], в настоящее время полученный крупными московскими библиотеками, представляет большой интерес не только для германистов, но и для славистов. Дело в том, что он содержит сведения вообще обо всех персоналиях, данные о которых имеются в биографических справочниках, вышедших к началу XX в. в немецком языковом ареале. В связи с такими правилами отбора круг зафиксированных имен очень велик. Здесь встречаются имена и Н. М. Карамзина (имя вошло в один из выпусков серии «Neuer Nekrolog»), и А. С. Пушкина, справка о котором имеется в «Allgemeine Deutsche Biographie».

Всего в справочнике 250 тыс. именных рубрик. В немалом количестве представлены славяне — деятели культуры, науки и других сфер жизни в Австрийской империи, например, В. С. Караджич, Я. А. Коменский, В. Ганка и многие другие.

Справочник состоит из двух частей. В первой из них, четырехтомном Индексе, приведен сводный алфавитный список — на каждую именную рубрику дается 2—3 строки, в которых содержатся следующие сведения: полное имя (порой дополняемое псевдонимом), годы жизни, краткая профессионально-социальная характеристика. Далее следуют сокращенные названия тех немногих справочников, где есть сведения о данном лице. Отсылка на справочники-источники дается в виде аббревиатуры, образованной от названия или имени издателя, составителя, а полное название устанавливается через список источников. Текст каждой именной рубрики заканчивается цифровыми данными, которые отсылают ко второй части справочника — Архиву (DBA — Deutsches Biographisches Archiv). Это набор пластинок с микрофильмированными текстами (так называемые микрофиши) всех соответствующих аннотаций из использованных справочников.

К сожалению, в наши библиотеки Справочник поступает в неполном виде, — пока мы имеем только тома Индекса. Однако сами авторы Справочника в предисловии заявляют (и мы с ними в этом вполне согласны), что и без DBA Индекс является «самостоятельным, полностью пригодным пособием», аккумулирующим сведения из множества труднодоступных источников и во многих случаях уже

содержащим в емких формулировках именных рубрик достаточную информацию. В противном случае читатель обращается к списку источников, включающему 264 позиции. В качестве основы некоторых из них избирался профессиональный или географический (страна, регион, город) критерий, либо их сочетание, либо какой-то иной принцип (например, «Германии галантные поэтессы» (1715), «Исторический лексикон героев и героинь» (1716)). Очень широк диапазон хронологических выходных данных справочников-источников — с 1707 г. по 1912 г. Нижняя временная граница освещаемого в них биографического материала — 1180 г.

Из австрийских справочников здесь представлены «Биографический лексикон Австрийской империи» К. Вурцбаха (1856—1891), «Образованная Австрия» И. де Лука (1776—1778), «Биографии австрийских педагогов» Ф. Фриша (1897), «Австрийский биографический лексикон» М. Бермана (1852).

Богемисты отметят использование справочных изданий, подготовленных И. Я. Чиканом («Здравствующие писатели Моравии», 1812), Г. И. Длабачем («Всеобщий исторический лексикон деятелей искусства для Чехии и отчасти Моравии и Силезии», 1815, переиздание 1913), М. Калиной фон Етешштейном («Сообщения о богемских писателях и ученых», 1818), Ф. М. Пельцелем («Богемские, моравские и силезские ученые и писатели из ордена иезуитов», 1786). Для изучающих вторую половину XIX в. будут полезны извлечения из таких книг, как «Цвет венской культуры» (Л. Айзенберг, 1893), «Немецко-австрийский лексикон писателей и деятелей искусств» (подг. Г. К. Козел, 1902—1906), «О литературе Западной Чехии. К литературной истории богемских немцев» (подг. М. Урбан, 1896).

Справочник может быть полезен широкому кругу славистов. Исследователи позднего средневековья обратят внимание на данные по истории аристократических семейств Австрийской империи: соответствующие рубрики образуют в Справочнике целые «гнезда» (фамилия Чернин — 6 рубрик, Стадион — 10, Штернберг и Шварценберг — по 50, Тун — около 80). Многие персоналии привлекут внимание специалистов по славяно-германским связям и даже, возможно, антропонимике. Страницы Справочника пестрят фамилиями славянского

типа, например, Птак, Птачек, Пштрос, Шлехта, Свобода. В разнообразном написании представлены Прохазки — все 4 графических варианта дают в совокупности около 50 рубрик. Можно было бы высказать и некоторые замечания составителям: есть пропуски в данных об очень известных деятелях; в списке источников отсутствует указание на место публика-

ции книг и др. Однако ясно, что прикладная роль Справочника будет велика.

Хорева О. А.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Deutscher Biographischer Index. Bd. I—IV. München, 1986.

ЕЛЕНА ГРОЗДАНОВА. Българската народност през XVII век. Демографско изследване. София, 1989, 725 с.

ЕЛЕНА ГРОЗДАНОВА. Болгарская народность в XVII веке. Демографическое исследование.

Интерес ученых к проблемам исторической демографии настолько возрос в последние два десятилетия, что заговорили об историко-демографическом буме. Это не случайно, ибо углубленное исследование социально-экономических процессов невозможно без рассмотрения демографических изменений, причем именно страноведческие разработки подготавливают возможность широкого обобщения материала, его комплексный анализ.

Изучению своеобразия демографических процессов в Болгарии посвящен фундаментальный труд Е. Гроздановой, открывающийся «Введением», в котором дается краткий обзор особых условий исторического развития болгарской народности в XVII в.

Первая глава состоит из пяти параграфов, посвященных проблемам истории болгарской народности и демографическим ее аспектам в историографии, характеристике источников, болгарской этнической территории в XVII в., административному делению и финансово-административным подразделениям, обоснованию важности изучения налоговой единицы «хане», хронологическим рамкам и, наконец, основным принципам и задачам работы. Значительное внимание автор уделяет выяснению понятий и категорий демографического исследования, изучению численного охвата налоговой единицы «джизье-хане», определению понятия «вилайет». Обосновывая верхнюю хронологическую грань своего труда — 1690 г., Е. Грозданова отмечает, что после этого года стал применяться новый способ поголовного обложения налогом «джизье», который требует иного метода демографического исследования. Целью

автора является возможно более полное выяснение численности болгарской народности в условиях уже третьего столетия османского господства (с. 71). Среди наиболее важных ставится задача выбора и применения соответствующей методики исследования. Особо значимым является изучение процесса исламизации — основной причины нарушения демографического баланса в развитии болгарской народности (с. 72). В связи с рассмотрением этого круга вопросов автор обосновывает необходимость изучения существеннейших факторов, позволивших сохраниться и выстоять болгарскому народу. Важный принцип исследования демографических процессов — не рассматривать их изолированно. Нельзя не согласиться с Е. Гроздановой, что эти процессы являются результатом «сильного влияния целого комплекса биологических, политических, хозяйственных и других факторов, хотя они и сами в той или иной степени влияли на экономическое, политическое и культурное развитие болгарского народа в течение веков» (с. 73).

Вторая глава посвящена демографическому состоянию и движению населения в болгарских землях, содержит выявленный с помощью методов машинной обработки статистический цифровой материал о 4444 населенных пунктах; динамика протекавших демографических процессов исследована в горизонтальном и вертикальном планах. Ареалом исследования служит болгарская этническая территория, к которой Е. Грозданова относит следующие «географические области» (с. 89): западные болгарские земли; Северная Болгария и Добруджа;

юго-западные болгарские земли (Македония); Фракия и Родопы. Завершается глава «результатами статистического анализа суммарных данных о болгарской этнической территории» (с. 500—526).

Основные причины демографических изменений и факторы сохранения болгарской народности рассматриваются в третьей главе. К первым отнесены эпидемия, голод, физическое уничтожение, внешние и внутренние миграции, исламизация, ко вторым — роль церкви и сельской общины. Автор отмечает, что со второй половины XVII в. процесс исламизации наиболее чувствительно затрагивал уже не только городское, но и сельское население. Систематическое насаждение ислама вступает в новый этап; исламизация ведется параллельно по нескольким направлениям (с. 571—584).

Проведенное исследование позволило автору в четвертой главе глубоко раскрыть вопрос о демографической структуре болгарского населения: конфессиональная характеристика; городское и сельское население; занятия и профессиональная структура общества; райя с различным статусом и категории со специальными обязанностями. Е. Грозданова пишет, что «османское нашествие застало болгарское население гомогенным в отношении религиозной его принадлежности... Восточноправославной по вероисповеданию продолжала быть преобладающая часть болгарского населения и в века османского господства» (с. 640). Но в XVII в. болгарское население уже не являлось конфессионально однородным. Автор замечает, что, со многими оговорками и приблизительно,

на основе имеющихся данных соотношение между конфессиями к середине 80-х годов XVII в. можно представить следующим образом: при общем количестве около 2 млн примерно 1,5 млн болгар были христианами, из которых максимум 15 тыс. — католиками, и приблизительно полмиллиона составляли болгары-мусульмане (с. 640—645, 716). Представляется важным вывод об условности и неточности определения так называемой «привилегированной райи» — специфика статуса населения со специальными обязанностями проявляется в особых формах его эксплуатации, а не в отсутствии эксплуатации вообще (с. 682—683).

Завершается исследование разделом «Вместо заключения», в котором предлагаются возможные направления будущих научных разработок поднятых проблем. Приводятся резюме на русском и английском языках, список сокращений.

Результаты научного исследования, основанного на широком круге новых архивных материалов и литературы, а также сам метод работы позволяют говорить о комплексном подходе Е. Гроздановой к освещению проблемы. Существенной частью хорошо фундированной монографии является составление и публикация 160 диаграмм, таблиц, схем и карт, которые, скорее всего, будут уточняться и дополняться в ходе новых разысканий. Работа Е. Гроздановой является прекрасным заданием, дающим импульс к дальнейшему исследованию периода османского господства в Болгарии и на Балканах.

Муртузалиев С. И.

G. SHEVELOV. The Ukrainian Language in the First Half of the Twentieth Century (1900—1941). Its State and Status. Cambridge, Massachusetts, 1989, 242 p.

Г. ШЕВЕЛЕВ. Украинский язык в первой половине XX века (1900—1941). Его состояние и статус

Г. Шевелев — ученик Л. А. Булаховского, доцент Харьковского университета, волею судеб оказавшийся за пределами Родины, — опубликовал множество экстраординарных работ по украинистике,

¹ В свое время мои попытки опубликовать рецензии на фундаментальные работы Г. Шевелева по диахронической фонологии [1; 2] не увенчались успехом.

славистике, фонологии, морфологии, синтаксису, истории языка и культуры, истории лингвистики. Особый интерес представляют работы Г. Шевелева по истории украинского литературного языка, в частности обобщающие монографии¹.

Следует вспомнить, что история литературного языка как особая историко-лингвистическая дисциплина зародилась

в недрах отечественной славистики (ср. работы А. И. Соболевского, Н. С. Трубецкого, В. В. Виноградова, Л. А. Булаховского и др.). До недавнего времени в германистике и романистике историческая грамматика и история литературного языка не разграничивались.

Процессы становления и развития украинского литературного языка описаны, пожалуй, не менее детально, чем история русского или польского. Рецензируемая монография Г. Шевелева охватывает интереснейший период в истории украинского языка, как собственно в лингвистическом, социолингвистическом, так и в политическом отношении. Проблемы эволюции литературного языка, украинизации, «коренизации», русификации и полонизации, румынизации и мадьяризации были до недавнего времени предметом острейшей политической и идеологической борьбы. Многие факты искажались и замалчивались. Теперь настало время нарисовать объективную общую картину развития украинского литературного языка на территории Советского Союза и межвоенной Польши, в Чехословакии и Румынии, проследить тенденции слияния локальных вариантов литературного языка в общенациональный литературный язык. Эта общая закономерность формирования национальных языков в данном случае осложнялась политическими и административными барьерами в условиях раздела территории украинского языка между несколькими государствами.

Монография состоит из введения (с. 1—4), семи глав, заключения (с. 214—223), библиографии (с. 224—234). Наиболее детально описано состояние украинского языка в Восточной Украине (III—VI главы, с. 67—174). В первых двух главах (с. 5—66) рассматривается языковая ситуация на всей территории проживания украинцев. Последняя глава посвящена Западной Украине (с. 175—213).

Уже во Введении Г. Шевелев подчеркивает, что проблематика литературного языка и его истории связана с проблемами его использования в письменной форме и в сферах устной коммуникации, «кем он используется и в каких функциях» (с. 1). По мнению Шевелева, исследователь истории литературного языка должен ответить на вопрос о том, почему и как данный язык развивается (с. 2), тщательно изучить не только лингвистическую, но и политическую, социологическую и историко-культурную проблематику.

В главе первой «Стандартный украинский язык до 1900 года» Шевелев отмечает, что украинцы жили в трех государствах (Россия, Австрия и Венгрия), в трех различных «законодательных системах», которые и определяли функционирование украинского литературного языка. Худшее положение украинского языка было в царской России, где проживали 85% украинцев. Лучшие условия для его функционирования были в Австрии (Галиция и Буковина, 13% украинцев). В Закарпатье ситуация была схожей с Россией. Этот вывод сделан на основании тщательного сопоставления законов и постановлений, состояния школьного дела, журналистики и издательского дела, публикаций грамматики и словарей, научных и политических организаций и т. п.

Ссылаясь на свидетельства современников, Шевелев констатирует, что в Галиции по-украински говорят лучше, чем пишут, а на Украине, наоборот, пишут лучше, чем говорят» (с. 17). И если в России украинская интеллигенция редко пользуется украинским языком, то в Галиции украинская речь слышна и в политических дискуссиях и в высшей школе... Соглашаясь с приведенным здесь мнением Леси Украинки (с. 17), следует полагать, что это объясняется не только давлением царского правительства и социальных учреждений России.

Вторая глава о предвоенном периоде (1900—1916). Подъем революционного движения и революция в 1905 г. в России, бесспорно, содействовали росту украинского движения как в России, так и в Галиции. Однако в России украинский литературный язык имел весьма низкий престиж даже среди украинского крестьянства, нередко выступавшего против введения украинского языка в школе (с. 54). Украинская по этническому происхождению интеллигенция весьма редко пользовалась украинским языком. Это — горстка писателей, поэтов, журналистов, эстрадных певцов и артистов. Российская Академия наук (А. Шахматов, Е. Корн и др.) весьма активно содействовала развитию украинского языка и культуры. В Петербурге успешно работала Орфографическая комиссия, которая, в частности, ввела букву *г*, позволявшую разграничить взрывную и фрикативную фонемы (с. 30). Г. Шевелев весьма тщательно проследил дискуссии о статусе украинского литературного языка 1907—1909 и 1912—1913 гг., роль Галиции в формировании его функцио-

яльных стилей и т. п. К 1914 г. украинский литературный язык стал фактором национального единства, важнейшим способом сохранения и развития национальных культурных традиций (с. 66).]

Период 1917—1920 гг. Шевелев считает годами борьбы за независимость (глава третья). Февральская революция стимулировала активизацию политической жизни, дав новые перспективы использования украинского языка в широких сферах социальной и политической жизни. Образовалось украинское правительство, набирали силу украинские политические партии. Украинский язык овладевал функциями языка администрации и военного дела, юридических и финансовых документов, образования и науки. Шевелев вполне объективно отмечает, что украинские партии не пользовались поддержкой широких народных масс. На выборах в Киеве украинские партии получили 20% голосов, а в Одессе — только 4%. Социальной базой борьбы за независимость Украины были крестьянские и солдатские массы. Украинская буржуазия ориентировалась на единение Украины с Россией. Рабочие и солдаты города, организованные в Советы, склонялись на сторону большевиков (с. 69). Политическая картина на Украине резко менялась: Центральная Рада и Гетманат, германская оккупация и Директория, Белая Армия и Красная Армия. Процесс социализации украинского литературного языка наталкивался на трудноразрешимые проблемы недостаточного количества украинских школ, подготовленных учителей и учебников украинского языка. Были открыты летние курсы учителей украинского языка, Педагогическая Академия (1917), Украинский Народный университет (1918). Росло количество периодических изданий и книг, в том числе — различных пособий по украинскому языку для русских (1918). Активизировались подготовка и издания русско-украинских и украинско-русских, а также терминологических словарей (медицина, физика и химия, лингвистика, естественная история и география, математика, технология). В связи с нуждами государственного строительства, наиболее интенсивно разрабатывалась юридическая и административная терминология. Борьба за независимость и попытки революционного объединения всех украинских земель в едином государстве не увенчались успехом. К 1919 г. Западная Украина была оккупирована Польшей, Букови-

на — Румынией, Закарпатье присоединено к Чехословакии. В Восточной Украине установилась Советская власть.

Эпоху первых лет Советской власти (1920—1925) Шевелев описывает в четвертой главе (Советская Украина до украинизации). Первоначально верховная власть поддерживала тенденцию сохранения украинского языка наряду с русским. В 1922 г. оба языка получили в законодательном порядке статус государственных языков (с. 89). Возникла дискуссия о статусе украинского языка (с. 90). Констатируя, что к 1927 г. в КП Украины было только 23% украинцев, Шевелев делает вывод, что партийное и административное руководство не было заинтересовано в украинизации, не владело украинским языком. Секретарь ЦК Украины Х. Раковский (болгарин) заявлял, что признание украинского языка официальным языком Советской Украины... «было бы опасным для Украинской революции» (с. 92). Престиж украинского языка в городе падал, на селе украинский язык сохранялся в функции языка начального образования (с. 100). Однако продолжали создаваться словари и грамматики, терминологические словари, разрабатывалась орфография и орфоэпия.

Пятая глава посвящена эпохе украинизации (1925—1932). В ответ на требования И. В. Сталина (1923) о «коренизации» всех эшелонов власти украинская администрация проводила политику украинизации. Был введен экзамен по украинскому языку для всех должностных лиц (с. 116). Перед ними выдвигалось требование пользоваться украинским языком на митингах и в быту (с. 121). Шевелеву удалось показать противоречивость насаждаемой сверху политики. Он отметил, что социальная база украинизации была слишком узкой (с. 122).

Резкое расширение употребления украинского языка приводило к снижению уровня украинской культуры и языка (с. 126). Академия наук Украины развернула большую работу по стандартизации украинского языка, создала новую серию двуязычных и терминологических словарей, разрабатывалась украинская орфография и орфоэпия (с. 131—132). Пересматривались отношения к галицизмам и русизмам, проявлялись тенденции пуризма, ставилась задача «очищения украинского языка от русизмов» (с. 137). Процесс украинизации прекратился в 1931 г. не без связи с процессом

«раскрестьянивания» (коллективизации, раскулачивания, репрессий по отношению к социальной базе украинского языка) (с. 140). Прежние активисты украинизации были объявлены в 1933 г. врагами народа, репрессированы. Гибла и без того немногочисленная украинская интеллигенция.

Шестая глава посвящена периоду 1933—1941 гг. «Украина под Постышевым и Хрущевым». Здесь описывается «борьба с национализмом на языковом фронте» (с. 153) и «систематические фронтальные атаки на украинский язык и культуру» (с. 172). По мнению Шевелева, все это привело к торжеству «русского шовинизма». Думается, однако, что сталинские репрессии проводились отнюдь не во имя торжества русской нации. Русскому народу, русскому крестьянству, русской интеллигенции пришлось испытать на себе не менее сокрушительные удары².

Анализ динамики внешней истории литературного языка сопровождается глубокими наблюдениями относительно его внутренней истории. Так, в частности, по мнению Шевелева, «билингвизму» русского литературного языка как сплаву церковнославянских и восточнославянских элементов соответствует «монолингвизм» украинского литературного языка. Однако последний период его русификации значительно увеличил число церковнославянизмов в украинском языке (*сивоголавий, обезглавие, вражий* и т. п.) (с. 174).

Последняя, седьмая глава, посвящена межвоенному (1920—1939) периоду в Западной Украине.

После первой мировой войны Западная Украина оказалась разделенной между тремя государствами: Румыния заняла Буковину, Польша — Галицию, Западную Волынь, Украинское Полесье, Подляшье и Холмскую землю, Чехословакия — Закарпатье.

Политика Польши была различной по отношению к Галиции и землям, ранее принадлежавшим России. Различие заключалось лишь в разной степени колонизации. Периодически поднималась волна антиукраинского террора в 1919, 1930,

1938 гг. (с. 182). Закрывались православные церкви. Так, в Холмской земле из 389 церквей в 1914 г. осталась только 51 в 1939 г. На территории Румынии антиукраинская политика была еще более суровой. Официальные румынские историки доказывали, что украинцы — славянизированные румыны (с. 194). Уже в 1924 г. был издан закон, на основании которого «гражданам румынского происхождения, которые забыли (потеряли) свой родной язык, надлежит отдавать своих детей в школы с румынским языком обучения» (с. 193—194). За десять лет (1918—1928) были фактически ликвидированы украинские образовательные учреждения, запрещены украинские летние курсы. Православная украинская церковь превращена в «румынскую ортодоксальную» и подчинена Бухарестскому патриарху (1935) (с. 196).

В Закарпатье условия существования украинцев были более либеральными. Автономная Подкарпатская Русь могла самостоятельно решать языковые вопросы. Функционировали украинские школы, в которых основательно изучался и русский язык. Здесь издавались украинские книги, учебники, газеты, журналы, словари, грамматики и т. п. Однако общенациональная идея не охватила всех украинцев. В языковом отношении они образовали три лагеря: «русинский», украинский и русский, которые не слишком отличались друг от друга. «Русинский» язык продолжал традиции староукраинского языка. Сторонники украинского языка считали его «язычем». «Москвофилы» полагали, что единым языком культуры украинцев и русских должен быть русский литературный язык. Таким образом, на пути развития украинского языка стоял русский литературный язык не только под нажимом «великорусского шовинизма», но и в силу убежденности украинской интеллигенции. У украинских крестьян складывалось впечатление, что русский язык — язык господ, как ранее венгерский или польский на территории Речи Посполитой. Традиционное для Чехословакии и Закарпатья русофильство исчезло после 1944 г. Заключая обзор богатейшего материала, представленного в книге, Шевелев подчеркивает, что судьбы украинского языка решались в четырех столицах: Петербург/Москва — Варшава — Бухарест — Прага. Наиболее сильное давление на него оказывали Царская Россия, Белая Армия и Румыния, в то время как в Польше украинский язык был в состоянии кон-

² Здесь автор хотел бы привести небезинтересное сообщение, сделанное ему в свое время Л. А. Булаховским: уже во время войны, после освобождения Киева, когда военные действия велись на территории Украины, Н. С. Хрущев вызвал группу лингвистов во главе с Л. А. Булаховским и поставил перед ними задачу усовершенствования украинской орфографии.

фронтации с польским, а в Чехословакии его развитие поддерживалось государством. Языковой либерализм оказался стимулом существования различных вариантов литературного языка. Тенденция к единству литературного языка пробивалась слабо не только в общеукраинском, но и в закарпатском масштабе.

Шевелев вводит общетеоретическое понятие «социальная база» литературного языка. К началу XX столетия социальной базой украинского языка было крестьянство (почти исключительно — в России и преимущественно — в Австрии). В начале XX в. были попытки расширить ее за счет городского населения и интеллигенции. В сфере художественной литературы эти попытки были успешными (Леся Украинка, М. Коцюбинский и др.). Украинский литературный язык употребляла главным образом гуманитарная интеллигенция, реже — купечество и очень редко — индустриальные рабочие. Дальнейшая украинизация города не была эффективной. Украинский городской сленг не выработался. Первая половина XX в. характеризуется многочисленными попытками нормализации украинского литературного языка. Препятствием на пути формирования единого стандартного украинского языка стояли не только территориальная и социально-административная разобщенность украинцев, но и «трагические зигзаги» национально-языковой политики в Советской Украине.

Читая и перечитывая весьма информативную книгу Шевелева, можно заметить, что для ее автора, как и для многих поколений украинской интеллигенции, важнейшей и труднейшей проблемой была и остается проблема взаимоотношений между украинским и русским литературными языками. Следовало бы подробнее проанализировать логику деятельности «москвофилов», ограниченность «социальной базы» украинского литературного языка, почти индифферентное отношение к нему украинской интеллигенции и т. п. Бесспорно, русский литературный язык является препятствием на пути развития украинского литературного языка не только в Восточной, но и в Западной Украине и в Закарпатье.

Можно сказать, что экстенсивное развитие национального языка сдерживало процесс формирования единой украинской нации. Однако, хотим мы этого или не хотим, мы должны признать, что современный русский литературный язык является не только непосредственным продолжением книжного языка Киевской Руси, но и единственным наследником Кирилло-Мефодиевской традиции. Современный русский литературный язык — это восточнославянские, украинско-белорусские и собственно русские узоры на славянском полотне, вытканном Кириллом и Мефодием. Украинские книжники внесли огромный вклад в сокровищницу русского литературного языка. По Грамматике Мелетия Смотрицкого и Букварю Феофана Прокоповича учились в Киеве и Львове, Москве и Новгороде. Украинские книжники от Феофана Прокоповича до Николая Гоголя основательно потрудились в создании фундамента современного русского литературного языка. Киевские ученые фактически заложили основы народного образования, книгопечатания, театрального искусства, переводческой деятельности и т. д. (Дмитрий Туптало Ростовский, Елифаний Славинецкий, Арсений Сатановский и др.). И, вероятно, поэтому многие деятели украинской культуры дорожили русским литературным языком как своим собственным достоянием.

Не всегда и не во всем можно согласиться с Г. Шевелевым, но нельзя не признать, что рецензируемая книга является серьезным вкладом в науку о славянских литературных языках вообще и в историю украинского литературного языка в частности. Проблемы и богатейший фактический материал книги помогут осмыслить современную языковую ситуацию в нашей стране.

Журавлев В.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Shevelov G. A Prehistory of Slavic.* Heidelberg — New York, 1965.
2. *Shevelov G. A Historical Phonology of the Ukrainian Language.* Heidelberg, 1979.



ХII ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИСТОРИКОВ-СЛАВИСТОВ

25—27 января 1990 г. в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова состоялась XII Всесоюзная конференция историков-славистов, посвященная обсуждению путей совершенствования преподавания и изучения истории зарубежных славянских народов. В ее работе приняли участие 217 специалистов из 39 высших учебных заведений, пяти научно-исследовательских институтов 34 городов страны. С докладами и сообщениями выступили 137 человек.

Конференция проходила в момент, когда зарубежные славянские государства переживают бурный период социально-политического и экономического обновления, а в обществе растет интерес к объективному осмыслению многовекового пути этих стран. Все это наложило отпечаток на характер конференции.

На одном из пленарных заседаний серьезному анализу подвергся процесс преподавания истории южных и западных славян в учебных заведениях нашей страны. В докладе Л. В. Гориной (МГУ) отмечалось, что выдвижение в преподавании эпохи средневековья на первый план вопросов истории культуры — закономерное явление, обусловленное тем, что многие ее проблемы долгое время не находили должного отражения в учебных курсах. Ряд тем, таких как «Библия и славянские культуры», оказались попросту забытыми, другие же, например, история господствующих классов как органической части средневекового общества, рассматривались односторонне. Призыв освободиться от тесных формационных перегородок, предлагать темы, развивающие широту мышления (свобода и зависимость, менталитет общества, среда обитания, бедные и богатые в средневековье), всесторонне учитывать своеобразие медиевистического курса нашли поддержку участников конференции.

В докладе В. Г. Карасева (МГУ) было высказано предложение пересмотреть периодизацию истории южных и западных славян в новое время, освещать эпоху капитализма полностью — с конца XVIII в. до начала второй мировой войны, выделив в качестве внутреннего рубежа первую мировую войну. Отстаивая проблемный метод чтения фундаментального курса, докладчик в качестве основного критерия разграничения материала, определения основных проблем выдвинул тезис о буржуазно-национальных революциях, выделив Сербское восстание 1804—1813 гг. как первую буржуазно-национальную революцию на Балканах и у зарубежных славян вообще, далее революцию 1848—1849 гг., затем польское восстание 1863—1864 гг. как буржуазно-национальную революцию польского народа, Восточный кризис, включавший в себя национально-освободительные движения балканских народов в XIX в., имевшие ярко выраженный антифеодальный, революционный характер, национальные революции периода первой мировой войны.

Существенные вопросы чтения курса истории зарубежных славянских народов были поставлены Г. Ф. Матвеевым (МГУ). Он подчеркнул двойственный характер курса. Если период с 1918 г. по начало 50-х годов достаточно хорошо поддается научной интерпретации, обеспечен специальной литературой и публикациями источников, то для следующего периода, до конца 80-х годов, преобладают политизированные оценки. В этой связи важное значение приобретает проблемный подход к чтению курса, выбору общезначимых вопросов и показу специфики протекания процессов в отдельных странах.

На целесообразность рассмотрения в страноведческом аспекте проблем, носящих ярко выраженный региональный характер, указал Ю. В. Костяшов (Калининградский ун-т). Он выступил за

расширение проблемного метода в освещении революций 1940-х годов, процесса формирования послевоенной модели общественного развития в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, подчеркнув при этом, что проблема кризисов и социальных конфликтов в принципе не может быть раскрыта только в национальном контексте.

Необходимость уточнить содержание лекционного курса, периодизацию новейшей истории славянских народов в условиях сокращения количества лекционных часов и возрастания роли самостоятельной работы студентов подчеркивали И. М. Гранчак (Ужгородский ун-т), Ю. И. Курбатов (Дальневосточный ун-т).

Острый характер носило сообщение А. Н. Горяинова (ИСБ АН СССР) о возрождении славяноведения на историческом факультете МГУ после репрессий 1934 г. и разгрома факультета осенью 1936 г. Новые материалы о развитии славяноведения в Харьковском (С. Ю. Страшнюк) и Карагандинском (А. Н. Тельгарин) университетах показали роль традиций в становлении всего комплекса преподавания и изучения славистики в высших учебных заведениях.

Выступления участников на пленарном заседании, посвященном обсуждению приоритетных направлений в области изучения истории южных и западных славян, были ориентированы на пересмотр ряда устоявшихся представлений не только о новейшей истории славянских народов, но и других эпох.

События конца 80-х годов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, по мнению Ю. С. Новопашина (ИСБ АН СССР), были предопределены причинами двойного свойства: доктринальными и практико-политическими. Вызвавший оживленную дискуссию доклад ученого был посвящен раскрытию механизма превращения большевистской концепции построения социализма в каноническую, с жестким набором сектантско-догматических признаков.

Призыв восстановить принципы историзма как общий методологический ориентир в раскрытии сущности генезиса социализма, отказаться от выборочности в исторических исследованиях, монистического, советоцентристского подхода к опыту стран Восточной Европы, прозвучавший в сообщении Г. П. Мурашко и А. Ф. Носковой (ИСБ АН СССР), нашел конкретное воплощение в анализе идейно-политического поворота 1948 г.

в коммунистическом движении стран этого региона (Т. В. Волокитина — ИСБ АН СССР), так называемой большевизации коммунистических партий в рамках Коминтерна, в частности, БКП (Н. Н. Канистратенко, Г. И. Чернявский — Харьковский ин-т культуры).

Аналитический подход к развитию исторической мысли в славянских странах Центральной и Юго-Восточной Европы, СССР, стремление критически оценить результаты, достигнутые марксистской историографией, позволили Л. А. Запскильняку (Львовский ун-т) сделать вывод об односторонности в освещении развития общества на различных этапах, идеологизации и навязывании догматизированных оценок, искажении реального процесса.

О неравномерности освещения истории различных славянских стран, отдельных хронологических периодов, необходимости возрождения глубоких историко-правовых и историко-аграрных исследований, обращения к проблемам народно-еретических движений, вопросам этнополитического и исторического сознания говорили участники секции «Средневековая история зарубежных славянских народов» при характеристике советской медиевистической славистики. Преобладание новых, нетрадиционных выводов по проблемам истории духовной культуры, общественной и исторической мысли, межславянских связей, в сторону которых явно сместились интересы историков, о чем убедительно свидетельствует и тематика докладов, стало возможным благодаря творческому подходу к источникам, широкому распространению сравнительного анализа сохранившихся памятников. За проведение глубоких текстологических изысканий на конкретном материале болгарского летописания, относительно многочисленных агиографических памятников высказались Д. И. Польшанский (Ивановский ун-т), А. И. Рогов (ИСБ АН СССР). О необходимости более тщательных исследований отечественной исторической мысли говорили М. А. Робинсон (ИСБ АН СССР), С. И. Муртузалиев (Дагестанский ун-т), А. А. Титова (Гомельский ун-т) и др. Вполне закономерно обращение участников секции к социально-экономическим проблемам славянского средневековья, к спорным вопросам возникновения средневековых городов Чехии (А. Н. Галямичев — Саратовский ун-т), гуситского движения (А. В. Рандин — Марийский ун-т), структуре дворянства побелогор-

ской Чехии (И. Р. Фишер — Марийский пед. ин-т), специфике предпринимательства в Чешских землях (Г. П. Мельников — ИСБ АН СССР) и др.

Осмыслению разнородных явлений, установлению между ними взаимосвязей была посвящена работа самой многочисленной секции «Общественная мысль и общественное движение у южных и западных славян в XIX — начале XX в.». Изучение многих информационных носителей, особенно русской периодической печати (Ю. П. Аншаков — Куйбышевский ун-т, Г. В. Рокина — Марийский ун-т, М. Ю. Досталь — ИСБ АН СССР, Е. П. Аксенова — ИСБ АН СССР и др.), постижение отдельных элементов общественного развития в их многообразии и единстве — вот, пожалуй, то общее, что характеризует современное состояние этого направления исторического славяноведения.

Весьма существенное место заняли рассмотрение новых граней темы влияния России на идеологию и политику национально-освободительных движений славян, выяснение того, как складывались представления о России у того или иного народа (в частности, у сербов во второй половине XVIII в. — И. И. Лещиловская, ИСБ АН СССР), традиции российско-славянских связей. В этом контексте особое звучание приобрели вопрос о роли идеи славянской общности, установление принципов, на которых базировались исторические концепции разных направлений русской исторической мысли XIX в. (М. Ю. Досталь — ИСБ АН СССР, Л. В. Юрченкова — ИНИОН АН СССР), признание политического реализма части российского революционно-демократического лагеря, осознавшей необходимость создания национальных независимых государств балканских народов (В. М. Хевролина — Ин-т истории СССР АН СССР).

Постоянным рефреном в выступлениях проходила мысль о назревшей целесообразности изучения проблем, не привлекавших ранее внимания советских историков-славистов или малоизученных, таких как феномен шляхетской революционности в польском национально-освободительном движении (В. В. Кутявин — Куйбышевский ун-т); влияние османских институтов и государственных структур (В. И. Шеремет — ИСБ АН СССР); о плодотворности расширения источниковой базы исследований (Б. С. Шостакович — Иркутский ун-т, О. В. Медведа — ИСБ АН СССР и др.).

Серьезное внимание в ходе обсуждения было уделено анализу развития двусторонних межславянских связей (общественно-политических и культурных). Стремление воссоздать максимально полную картину их генезиса, показать во всей сложности и противоречивости, поскольку лишь на такой основе возможны глубокие обобщения относительно объективной и отнюдь не всегда априорно прогрессивной роли России на том или ином этапе развития отношений, было характерно для выступлений Л. И. Степановой (Ин-т истории СССР АН ССР Молдова), Е. П. Кудрявцевой (Ин-т истории СССР АН СССР).

Весьма широкий диапазон проблем истории межвоенного периода рассматривался секцией «Славянские народы в 1918—1944 гг.». Они касались ранее неизвестных страниц жизни и политической биографии Х. Г. Раковского (Г. И. Хенегар — Ивано-Франковский пед. ин-т), болгарского этапа дипломатической деятельности Ф. Раскольников (Д. Б. Мельцер — Белорусский ун-т). Заметный интерес вызвали обсуждение внешнеполитической ситуации в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе, раскрытие «белых пятен» польско-советской войны 1920 г., характера военных действий Красной Армии на польской территории (М. Н. Черных — ИСБ АН СССР), позиции югославского правительства по вопросу установления дипломатических отношений с Советской Россией (О. Н. Решетникова — Ин-т истории СССР АН СССР).

Стремление оценить результаты советской и зарубежной историографии по обсуждавшимся проблемам, представить более развернутые характеристики отдельных работ, в том числе крупных публикаций источников, материалов, появляющихся в современной публицистике, прозывало выступления Е. Ф. Фирсова (МГУ), С. И. Рябокonia (Уральский ун-т), В. В. Марьиной (ИСБ АН СССР), Г. Г. Лазько (Гомельский ун-т) и др. Прозвучало предложение — в будущем формировать проблемные секции с целью более фундаментальной постановки вопросов, их рассмотрения специалистами-профессионалами.

Плюрализм мнений, острота и дискуссионность были характерны для работы секции «Славянские государства в 1945—1989 гг.», что способствовало более полному выяснению существа таких проблем, как советско-югославский конфликт 1948 г. (Л. Я. Гибианский —

ИСБ АН СССР), перестройка в СССР и НРБ: общее и особенное (А. И. Доронченков — ИМЛ при ЦК КПСС), общие закономерности социализма в зарубежных славянских странах (Д. Г. Песчаный — Кубанский ун-т). Потребность в объективной оценке бурных политических и социально-экономических изменений в странах Центральной и Юго-Восточной Европы на рубеже 80—90-х годов, глубоком теоретическом осмыслении исторического развития стран данного региона привела к пересмотру теоретических положений о специфических особенностях революционных процессов и путях построения социалистического общества в странах народной демократии, экономической и социально-политической сущности, временной протяженности переходного периода, кризисных явлениях. Одобрение вызвало выделение трех попыток отторгнуть сталинскую (с «национальными вариациями») командно-административную модель социализма: в середине 50-х годов (ГДР, Венгрия, Польша); в конце 60-х — начале 70-х годов (Польша, Чехословакия, Югославия); во второй половине 80-х годов. Изучение идейно-политического кризиса в польском обществе в середине 50-х годов, когда под флагом борьбы со сталинизмом начался процесс консолидации оппозиционных течений (Р. Р. Юсупов — Казанский ин-т культуры), феномена «Пражской весны» 1968 г. и опыта конструирования нового облика социализма чехословацким реформистским движением этого периода (Р. М. Постолюнский — Ровенский пед. ин-т) показывает мощное воздействие демократических традиций, то, что социалистический идеал оставался элементом общественного сознания и в кризисные годы.

Анализу были подвергнуты вопросы развития социалистической экономической интеграции, различные аспекты экономических, политических и культурных связей на примере экономического сотрудничества СССР и Болгарии в 80-е годы (А. И. Черный — Тернопольский ин-т народного хозяйства, Э. Г. Вартамян — Кубанский ун-т), СССР и Польши (А. И. Елкин — Харьковский ун-т); была предпринята попытка выявить их наиболее действенные формы, показать отрицательное влияние рецидивов административного, бюрократического подхода, негативные результаты отсутствия отлаженного механизма взаимодействия в валютно-финансовой области, сфере ценообразования, решении правовых проблем.

Более широкая, нежели раньше, постановка вопросов была заметна на заседании круглого стола «Социал-демократизм у славянских народов. Истоки, идеология, политическое движение», объединившего специалистов, занимающихся прежде всего страноведческими исследованиями. Стремление отказаться от старых схем и догматизма, привлечение новых материалов позволили раскрыть отдельные стороны жизни таких выдающихся деятелей социал-демократии, как Н. Х. Габровский (Н. Т. Сапронова — Воронежский пед. ин-т), Димитр Благоев (Е. Н. Андришин — Орловский пед. ин-т), Роза Люксембург (Б. Я. Табачников — Воронежский ун-т). Весьма нетрадиционно были рассмотрены процессы, проходившие в конце XIX — начале XX в. в Австро-Венгрии (Ю. И. Поп — Винницкий пед. ин-т, Е. П. Серапионова — ИСБ АН СССР и др.). Анализ политической концепции с многогранной социальной и своеобразной национальной программой Австрийской социал-демократической рабочей партии и ее отдельных национальных отрядов показал, что широкое распространение социал-реформистских концепций во многом обуславливалось спецификой и потребностями развития славянских народов, рабочего класса монархии Габсбургов, а не только влиянием оппортунизма лидеров II Интернационала. Отмечались необходимость глубокого изучения как факторов политизации, радикализации общества, нарастания в монархии центробежных устремлений, так и позитивного воздействия реформистских доктрин на общественно-политическую жизнь, целесообразность исследования проблем, относящихся к периодам эволюционного, а не только революционного развития славянских народов.

Стремление найти более действенные формы организации работы конференции пронизывало выступления руководителей секций на заключительном пленарном заседании. Речь шла прежде всего о целесообразности и научной актуальности публикации расширенных тезисов сообщений на конференциях, которые должны содержать основные концептуальные положения, новые подходы и выводы исследователей. Было высказано пожелание предварительно публиковать в журнале «Советское славяноведение» теоретические материалы по наиболее актуальным проблемам, выносимым на обсуждение конференций.

Ненашева З. С.

СОБРАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ ПО ИСТОРИКО-СЛАВИСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

В рамках XVII Международного конгресса исторических наук в Мадриде 29 — 30 августа 1990 г. состоялось заседание Международной комиссии по историко-славистическим исследованиям, на котором рассматривалась проблема «Контакты между странами Пиренейского полуострова и славянским миром в XVI—XX столетиях». Были заслушаны доклады проф. С. Фишер-Галати (США) «Место Восточной Европы в имперских воззрениях Карла V», проф. З. Златара (Австралия) «Торговые связи между Дубровником и владениями испанских Габсбургов (включая южную Италию) в XVI—XVII вв.», проф. Л. Тшетяковского (Польша) «Роль польско-испанских исторических параллелей в польской политической мысли в XIX в.», проф. Д. Бериндеи (Румыния) «Румынские историки XIX в. и Испания», проф. Д. Иена (ГДР) «Испания в русской общественной мысли XIX в.», Д. Кишпа (США) «Советская военная

оценка гражданской войны в Испании: особый случай или модель будущей войны», проф. С. П. Пожарской (СССР) «Российские послы об Испании».

Кроме того, выступили проф. Э. Седен (США) с докладом «Н. М. Карамзин и историзм в России», проф. У. Леман (ГДР) — «Просветительская идея в историографии Карамзина», проф. С. С. Хромов (СССР) — «Российские политические деятели в Октябрьской революции». Используемые в них новые фактические материалы и интересные наблюдения вызвали оживленный обмен мнениями.

На заседании был обновлен личный состав комиссии и ее президиум. Президентом комиссии был избран проф. Б. Мишель (Франция), одним из вице-президентов стал проф. В. К. Волков (СССР), обязанности генерального секретаря комиссии были возложены на проф. Л. Тшетяковского.

И. К.

КОНФЕРЕНЦИЯ СОВЕТСКИХ И ПОЛЬСКИХ ИСТОРИКОВ В ОЛЬШТЫНЕ

С 25 по 30 июня 1990 г. в Ольштыне (Польша) состоялось 25-е заседание Советско-польской комиссии историков, посвященное проблеме «Рыцарские ордена и народы Восточной Европы в XIII—XVI вв.» и приуроченное к юбилею Грюнвальдской битвы 1410 г. Заседание открыл акад. Ю. Бардах, который обратился к собравшимся с приветствием по случаю 25-летия работы комиссии.

Основными темами докладов стали: история рыцарских орденов на территории Восточной Европы, их внутренняя и внешняя политика, организация и идеология; Грюнвальдская битва как переломное событие в отношениях рыцарских орденов и славянских народов; отражение этих исторических фактов в общественном сознании, культуре и научной мысли последующего времени.

Вопрос об отношении к Западу и, в частности, рыцарским орденам привлекал внимание уже русских летописцев XIII—XIV вв. Из посвященного этой проблеме доклада Я. Н. Щапова видно, что Запад в русских источниках выступал как определенное геополитическое, точ-

нее даже идеологическое понятие, интерпретировался как родственный славянству христианский мир. Однако прослеживается и определенная эволюция в отношении к рыцарским орденам. Как показал в своем докладе А. И. Рогов, переломной вехой здесь стал разгром Константинополя крестоносцами (1204), заставивший русских и вообще славянских хронистов пересмотреть свое к ним отношение как к борцам за веру и христианским мученикам. Эти воззрения получили дальнейшее развитие в результате вторжения крестоносцев на Русь, когда они начинают прямо отождествляться с татарами и другими неверными, а война с ними объявляется священной.

Изучение рыцарских орденов составляет одно из хорошо разработанных направлений современной польской исторической науки, где традиционно сложилась сильная школа их исследования. Среди докладов по данной теме интерес вызвали выступления об отношениях Варминского княжества и орденового братства в Пруссии в 1243—1525 гг. (А. Шорц), об ордене Христовых братьев

на территории Пруссии в исторической литературе средневековья и нового времени (Я. Поверский). В этих докладах показаны географическое расположение различных орденов, их отношения друг с другом и папской властью, действие в них норм канонического права, внутренние причины их разложения. Борьба с рыцарскими орденами славянских народов стала предметом рассмотрения в докладах Н. Ф. Котляра (взаимоотношения Галицко-Волынского княжества и крестоносцев в 30-х годах XIII в.), В. А. Кучкина (битва Александра Невского с Тевтонским орденом), Т. Василевского (роль литовских войск в великой войне с орденом 1410—1411 гг.). Идеологический аспект деятельности рыцарских орденов и их роль в процессе христианизации покоренных народов Прибалтики, историографию этих проблем осветили В. И. Матузова и Е. Л. Назарова. Особый интерес вызвал доклад А. Надольского «Новейшие исследования о Грюнвальдской битве», который был сделан на самом поле Грюнвальдского сражения и представлял собой рассказ о проведенных здесь археологических раскопках, позволивших уточнить многие детали военных действий, происходивших здесь в 1410 г.

Известно, что Грюнвальдская битва, будучи одним из переломных моментов средневековой истории всей Восточной Европы, нашла отражение в общественной мысли той и последующих эпох. Данное обстоятельство позволяет говорить

о существовании известной исторической преемственности, традиций восприятия этого крупнейшего события, рассматривать отношение к нему как признак определенного состояния общественного сознания данного народа, его изменения. Эти проблемы стали предметом живого обсуждения в целом ряде докладов. Так, представления о рыцаре и русском воине в средневековой литературе были темой выступления М. Е. Бычковой, которая показала, в частности, влияние западноевропейской рыцарской литературы на русскую и в то же время значительную специфику последней. Ренессанс грюнвальдской традиции в польской историографии XIX в., связанный со стремлением к национальному самоопределению, продемонстрировал М. Лечек. Разгром Ордена крестоносцев в сознании современного польского общества явился предметом выступления Т. Валихновского. Тема Грюнвальдской битвы и ее отражение в национальном самосознании славянских народов в средние века, новое и новейшее время были освещены в докладе А. Н. Медушевского и Л. Л. Муравьевой.

Таким образом, поставив и обсудив широкий круг вопросов истории славянских народов Восточной Европы периода феодализма и нового времени, конференция советских и польских историков в Ольштыне несомненно способствовала их дальнейшей успешной разработке.

Медушевский А. Н.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО СЛАВЯНСКОЙ БИБЛИИ

В последнее время объединение усилий светских и церковных ученых приносит ощутимые плоды — завязываются научные контакты, восстанавливаются утраченные связи между богословами и философами, историками, филологами.

Одним из событий такого рода стал проходивший в феврале 1990 г. в Ленинграде Международный семинар, посвященный 75-летию со дня начала работы Комиссии по научному изданию Славянской Библии, или Русской Библейской Комиссии (РБК). Организаторами семинара выступили такие ленинградские учреждения, как Государственный университет, Митрополия, отделение Архива Академии наук СССР, Ассоциация по изучению славянских куль-

тур и истории славяноведения, а также вновь созданная Северо-Западная Библейская Комиссия (СЗБК).

На открытии семинара в актовом зале ленинградских Духовных школ перед многочисленными участниками и гостями международной встречи выступил почетный Председатель СЗБК Митрополит Ленинградский и Новгородский, а ныне Патриарх Русской Православной Церкви Алексий II: «Славянская Библия — это 1000-летняя славянская святая. В наше время прогрессирующей бездуховности изучение Библии должно поднимать на новый уровень науку и культуру и способствовать единению всего христианского мира».

«Цель научного изучения — открыть.

русским людям Русскую Библию», — сказал в своем вступительном слове Председатель оргкомитета семинара, ректор Ленинградского университета, чл.-корр. АН СССР С. П. Меркурьев. Он отметил здесь особую роль ЛГУ как первого советского учебного заведения, где был введен спецкурс по изучению Библии.

Ректор Ленинградской Духовной Академии (ЛДА) о. Владимир (Сорокин) отметил, что учреждение РБК 75 лет назад в стенах Петроградской Духовной Академии «было поистине провиденциальным событием. И современные ученые, обращаясь к изучению Библии, должны возродить те высокие идеалы, ту атмосферу благоговения, которые ознаменовали начало этой работы».

С приветствием к собравшимся обратились также епископ Гуннар Лислеруд, руководитель делегации Библейских обществ Скандинавских стран, европейский региональный секретарь Объединенных Библейских Обществ Ганс Флорин, о. Иосиф Павилонис, настоятель католического собора в Ленинграде.

Насыщенной была научная программа семинара, включавшая 35 докладов, которые по содержанию можно разделить на несколько тематических групп. В первой из них освещалась деятельность РБК. К. И. Логачев (Ленинградская Митрополия) в докладе «Русская Библейская комиссия и значение ее идей и методов в наши дни» раскрыл содержание двух концепций работы РБК, предложенных отечественными славистами — чл.-корр. Российской академии наук А. В. Михайловым (1859—1927) и чл.-корр. Петербургской академии наук, проф. Петербургской Духовной академии И. Е. Евсеевым (1868—1921). По настоянию акад. А. А. Шахматова предпочтение было отдано точке зрения Евсева: изучать Славянскую Библию не просто как памятник истории, языка и письменности, но и как памятник общественной, религиозной и философской мысли славянских народов.

В. С. Соболев (ЛО Архива Академии наук СССР) в докладе «Русская Библейская Комиссия и борьба Академии наук за сохранение отечественных культурных традиций в первые годы Советской власти» на архивных документах той эпохи показал, сколь значительную роль сыграл акад. А. А. Шахматов в сохранении самой Комиссии: по его настоянию она была включена в состав ОРЯС Российской академии наук. В 20-е годы, в тяжелейших условиях голода, разрухи

и варварского обращения с церковными художественными ценностями, РБК продолжала свою научную работу (до 1929 г.). Заслуга в этом в немалой степени принадлежала также академикам А. И. Соболевскому, А. Н. Ольденбургу, В. М. Истрину.

Тему изучения языка славянских переводов Библии открыл доклад крупнейшего советского специалиста по древнерусскому языку и словесности проф. ЛГУ В. В. Колесова «Славянорусский и церковнославянский в древних переводах Евангелия», в котором было показано, что в процессе перевода шло активное взаимообогащение между древнерусским литературным языком и церковнославянским языком извода.

Выступивший в дискуссии по этому докладу о. Владимир подчеркнул, что и сейчас русский язык крайне нуждается в духовном возрождении и наполнении, ибо из него ушли благочестие, благоговение, благодать, — понятия, воспитывавшиеся прежде самим строем русского языка, благодаря его постоянному взаимодействию с церковнославянским библейским языком.

Большая часть докладов была посвящена «Толковой Библии» А. П. Лопухина. О принципах, положенных в основу этого издания, о характере комментирования, об истории появления этого труда и его значении говорили иеромонах Сергей (Кузьмин) и архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) из ЛДА, С. В. Дружинина и Н. Г. Николайчук (ЛО изд-ва «Искусство»).

Центральной темой в работе семинара стало освещение истории славянских переводов и издания Библии в славянских странах как в прошлом, так и в наши дни.

Начальному периоду возникновения Славянской Библии — переводческой деятельности Мефодия — был посвящен доклад Т. А. Ивановой (ЛГУ). Перевод Нового Завета Вука Караджича лег в основу доклада А. П. Дмитриева и Г. И. Сафронова (ЛГУ). О создании и распространении переводов Библии в Болгарии рассказали В. Д. Андреев (ЛГУ) и Г. К. Венедиктов (ИСБ АН СССР). Старобелорусское Евангелие Василия Тяпинского стало предметом рассмотрения в докладе А. Е. Супруна и И. П. Климова (БГУ). Переводы библейских текстов на чешский язык отразили доклады Г. А. Лилич (ЛГУ) и А. С. Мыльникова (ЛО Ин-та этнографии АН СССР); на словацкий — доклад Л. Н. Смирнова (ИСБ АН СССР). С деятельностью Македонской Православной

церкви и переводами там Библии познакомила слушателей З. К. Шанова (ЛГУ), о переводах Священного Писания на славянские литературные микроязыки рассказал А. Д. Дуличенко (ТГУ). Г. Н. Моисеева (ИРЛИ АН СССР) посвятила доклад Й. Добровскому как исследователю истории Библии в России.

С рядом докладов о Славянской Библии выступили члены Международного комитета славистов и его Библейской комиссии: игумен Иннокентий (Павлов) (Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата), А. М. Пентковский (ДМА), Христиан Ханник (Университет Трира, ФРГ), А. А. Алексеев (ЛО Института языкознания АН СССР).

Намечая перспективу работы над Русской Библией, О. В. Творогов (ИРЛИ АН СССР) указал, что необходимо исследовать многочисленные русские хронографы, ибо в них содержится множество пересказов Библейских книг. О текстологии и необходимости дать современную версию прочтения текста Священного Писания говорил Е. М. Верецагин (ИРЯ АН СССР).

К лингво-стилистическим вопросам переводов Библейских текстов обратились Р. М. Цейтлин (ИСБ АН СССР), Г. А. Николаев (Казанский ун-т), Л. П. Клименко (Горьковский пединститут), Лех Краевский (ПР).

Внимание участников семинара привлекли и вопросы взаимоотношений церкви, о чем говорили архимандрит Августин (Никитин) (ЛДА) и А. С. Волокиткин (Ленинградская община Евангельских христиан-баптистов).

Представители Объединенных Библейских Обществ подробно осветили деятельность этой организации по распространению Библейских книг в СССР.

Международный Библейский семинар показал, что в нашем обществе созрело понимание величайшей ценности Славянской и Русской Библии и необходимости их дальнейшего изучения, что естественным и наиболее плодотворным путем этого изучения должно стать объединение сил как церковных богословов, так и ученых университетов и Академии наук, что Славянская и Русская Библии должны изучаться во всех аспектах на самой широкой общеславянской основе. Остро чувствуется необходимость создания нового русского перевода Библии, хотя подходить к этому делу нужно взвешенно и продуманно.

В заключение было подписано соглашение о сотрудничестве между Объединенными Библейскими Обществами и Северо-Западной Библейской Комиссией.

Жакова Н. К.

КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЭПОХЕ БАРОККО

В последние годы наблюдается усиление интереса к культуре барокко, что подтверждает ряд конференций, прошедших в различных научных центрах как славянских, так и неславянских стран. Изучение барокко включено в комплексную программу Совета по европейскому сотрудничеству (Страсбург). Один из инициаторов и руководителей этого проекта Жозе Видал-Бенейто, возглавляющий Дирекцию по образованию, культуре и спорту при Совете Европы, объяснил задачи этого проекта общим стремлением к развитию сотрудничества в Европе, в том числе и в области культуры, к углубленному изучению общественной мысли, дальнейшей демократизации общества, духовного обогащения человека. Изучение барокко, в разных вариантах охватившего многие европейские земли, направлено на установление европейской

самобытности, под которой подразумевается единство разнообразных национальных культур. Именно в установлении национального своеобразия, его уважении усматривается основа единства европейского сообщества. На выявление своеобразия и единства, индивидуального и общего направлен проект «Пути барокко», объединивший многих исследователей.

В 1988 г. на международной конференции в Португалии собрались специалисты многих стран, принявшие решение о комплексном изучении барокко, затем были проведены конференции в 1989 г. на Сицилии и Мальте, в Неаполе, распространившиеся затем и на славянские земли.

В октябре 1989 г. в рамках проекта «Пути барокко» сербская Академия наук и искусства провела в Белграде междуна-

родную конференцию «Западноевропейское барокко и мир Византии». Сербская культура, отметил в докладе на пленарном заседании акад. Д. Медакович, представляет ценный материал для изучения встречи двух цивилизаций — западноевропейской и поздневизантийской, что в результате дало один из вариантов барокко у славян — сербский, развивавшийся в первой половине XVIII в. В докладе акад. Р. Самарджича «Сербский народ 1683—1739 гг.» развивалась идея, что именно через барокко осуществлялся процесс европеизации сербской культуры. На конкретных примерах осуществление этого процесса показали в своих докладах «Симбиоз традиционного и барочного в сербской графике XVIII в.» Д. Давидов, «Барокко и сербская музыка XVIII в.» Д. Петрович, другие исследователи. В значительной мере включение сербской культуры в европейскую осуществлялось через посредничество Украины, что освещалось в докладах Е. Н. Пащенко — «Актуализация средневековья в украинском барокко», В. А. Овсийчука — «Идейно-социальные основы украинского барокко», Г. Н. Логвина — «Украинское барокко». О трансформации западноевропейского барокко в славянских культурах говорилось в докладах Дж. Броджи-Беркоф (Италия) — «Картина Сербии в западной историографии эпохи Контрреформации», В. Крола (ФРГ) — «Аспекты рецепции эмблематики среди южных славян», И. Ковальчика (ПР) — «Влияние латинской и западной культур на греко-католическую архитектуру в Польше XVIII в.» и др. Значительный интерес вызвали доклады, посвященные проникновению и аналогиям западноевропейской барочной культуры в ориентальную традицию, прослеженным М. Рестле (ФРГ), — «Техника византийских настенных росписей в Малой Азии» — и другими докладчиками, в частности, на примере балканских культур.

В октябре 1989 г. конференция продолжила свою работу в Загребе. Ее темой стало «Хорватское литературное барокко», о котором прочли доклады хорватские исследователи: Р. Богичич — «Хорватский барочный славизм», И. Сламниг — «Демонстрация свойств, присущих языку барочной поэзии», З. Кравар — «Лирика XVII в.», И. Братулич — «Хорватская барочная проповедь», П. Павичич — «Космологические аспекты „Османа“ И. Гундулича», И. Матанович — «Святой Иван Канавеловича», Н. Батушич —

«Элементы сценической фантастики в дубровницкой драме XVII в.», С. П. Новак — «Драма в эпоху барокко», Д. Фалишевац — «Эпика в хорватском барокко» и зарубежные: М. Квапил (Прага) — «„Осман“ Гундулича и „Краледворская рукопись“», Е. Пащенко (Киев) — «Юрий Крижанич в контексте эпохи барокко», а также З. Боевич (Белград) — «Барочный эпос и ренессансная барочная традиция». На заседании «круглого стола» рассматривались темы: «Роды и виды в хорватском литературном барокко», «Варианты хорватского литературного барокко и проблема литературного центра и периферии». Одновременно в Загребе проходила конференция «Музыка барокко и западные славяне в контексте европейского культурного сообщества». В рамках международного года барокко и проекта «Пути барокко» в октябре в Любляне проходила конференция, посвященная барокко в Словении.

Польская Академия наук совместно с белорусской Академией наук провели в октябре 1989 г. в Варшаве международную конференцию «Художественная культура Литовского княжества в эпоху барокко», в которой принимали участие ученые из Польши, Белоруссии, Литвы, Латвии.

Активизировали свою деятельность исследователи Украины. В мае 1989 г. Институт искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского АН УССР совместно с Институтом искусства польской Академии наук провели в Олеське под Львовом конференцию «Украинское барокко и европейский контекст», на которой, в частности, были прочитаны доклады: «Некоторые особенности становления архитектуры барокко в Средней и Восточной Европе» (М. Я. Либман, Москва), «Архитектура украинского барокко» (Г. Н. Логвин, Киев), «Украинский театр барокко и христианские культурные традиции» (Л. А. Софронова, Москва), «Принципы барочной поэтики в ансамбле Спасо-Преображенской церкви с. Великие Сорочинцы Полтавской обл. (1727—1732)» (Л. С. Милыева, Киев), «Позднебарочные резиденции на Вольни и Львовщине» (Е. Ковальчик, Польша), «Архитектура монастырей на западноукраинских землях» (Ю. Барановский, Польша) и ряд других, посвященных в основном искусству барокко.

Необходимость изучения барокко в его различных проявлениях комплексно, не ограничиваясь лишь литературой и искусством, была осознана организаторами

и участниками конференции «Украинское барокко: проблема изучения и сохранения памятников». Она проводилась в апреле 1990 г. филологическим факультетом Киевского университета им. Т. Г. Шевченко. В конференции приняли участие в основном украинские исследователи различных профилей — филологи, искусствоведы, этнологи, историки, философы, писатели, работники культуры и др. На диапазон исследований указывают темы докладов: Л. П. Скорик — «Национальное мировоззрение и свобода фантазии в украинском барокко», О. В. Белый — «Категория барокко и проблема власти», Д. Е. Горбачев — «Барокко и футуризм», В. А. Щербак — «Роль козачества в развитии духовной культуры Украины», В. Л. Скуратовский — «Русское славянофильство и киевское барокко», Д. С. Наливайко — «Становление жанровой системы украинского литературного барокко», В. И. Кречотень — «Главные аспекты изучения украинского литературного барокко», В. А. Шевчук — «Универсальные картины мира в творчестве поэтов украинского барокко», Я. М. Пилинский — «Элементы барокко в украинских думах», Л. П. Корний — «Барочные черты в музыке украинской школьной драмы XVII — первой половины XVIII в.», В. Г. Пуцко — «Искусство украинского барокко за границами Украины», Н. Н. Бяляшевский — «Место культурного наследия Украины-Руси, в частности барокко, в сознании студенческой молодежи Киевского университета» и др. В докладе Е. Н. Пащенко «Проблемы украинского барокко» изложена программа комплексного последовательного изучения украинского барокко в тесном сотрудничестве представителей различных научных дисциплин, намечен план дальнейших мероприятий по изучению разных сфер культуры, в частности перспективные темы «Барочный славизм и украинская культура», «Народное творчество и культура барокко», «Украинско-славянские связи в эпоху барокко» и другие, по которым предполагается проведение конференций на базе Киевского университета с привлечением не только украинских, но и других исследователей, интересующихся украинистикой. В докладе В. В. Яременко «Методологические проблемы изучения

украинского барокко» особо подчеркивалась необходимость оказания всесторонней поддержки осуществлению «Гарвардского проекта» публикации памятников украинского литературного барокко, осуществляемой при Гарвардском университете славистами Украины и США. Участники конференции поддержали стремление украинской общественности к восстановлению в качестве памятника территории Киево-Могилянской академии, где ныне располагается Морское военно-политическое училище. Конференция продемонстрировала наличие солидного кадрового состава в современном украинском барокковедении, стала, по определению вице-президента Республиканской ассоциации украиноведов П. П. Кононенко, серьезной подготовкой к проведению Международного конгресса украинистов в Киеве (август — сентябрь, 1990). В Киеве также состоялось заседание «круглого стола» по украинскому барокко.

Большое внимание украино-славянским связям эпохи барокко уделяет Славистическое общество Киевского университета. Здесь было отмечено 600-летие Косовской битвы, в 1990 г. прошли чтения, посвященные 400-летию И. Гундулича — «Поэма Гундулича „Осман“ в контексте украино-славянских культурных связей» и 300-летию великих сербских переселений — «Сербь на Украине». В рамках европейского проекта «Пути барокко» на кафедре славянской филологии университета разрабатываются материалы об украинском барокко как одном из проявлений общеевропейского процесса и распространения барокко с Украины в другие земли.

Научные мероприятия, связанные с эпохой барокко, убедительно свидетельствуют, что эта проблематика не теряет своей актуальности, напротив, привлекает все большее внимание. Она далека от полной изученности, исчерпанности, требует нового переосмысления. Представляется целесообразным выработать комплексную программу изучения барокко в восточно-славянских землях, координации усилий ученых, их участия в общеевропейском научном проекте «Пути барокко».

Пащенко Е. Н.



КОНКУРС

В марте 1992 г. исполняется 400 лет со дня рождения великого чешского гуманиста, ученого-энциклопедиста, писателя, педагога, теолога, общественного деятеля Яна Амоса Коменского.

В Академии наук СССР осуществляется программа юбилейных мероприятий, для координации которых создан Оргкомитет во главе с вице-президентом АН СССР академиком В. Н. Кудрявцевым.

АН СССР совместно с Посольством ЧСФР в СССР объявляют конкурс молодых ученых (до 35 лет) на лучшую работу, посвященную значению наследия Я. А. Коменского для наших дней.

Темы конкурса:

1. Концепция справедливого мироустройства Я. А. Коменского и проблемы общеевропейского дома.

2. Философские идеи Я. А. Коменского и современность.

3. Опыт освоения наследия Я. А. Коменского в культуре СССР.

Рукописи объемом до 1 а.л. просим направлять до 10 февраля 1992 г., по адресу: 117334 Москва, Ленинский проспект, д. 32—А, Институт славяноведения и балканистики АН СССР, М. Н. Кузьмину.

Работы будут рассмотрены международным жюри. Лучшие из них будут рекомендованы к печати в СССР и ЧСФР. Победителя конкурса ждет 10-дневная поездка в ЧСФР. Другие призеры будут отмечены премиями.

Телефон для справок: 938-17-80.

*Ученый секретарь Оргкомитета по проведению мероприятий,
посвященных 400-летию А. Я. Коменского
М. Н. КУЗЬМИН*

CONTENTS

Kosik V. I. Konstantin Nikolaevič Leont'ev: reactionary or prophet? *Gibi-ansky L. G.* Toward the history of Soviet-Yugoslavian conflict of 1948—1953: the secret Soviet-Yugoslavian-Bulgarian meeting in Moscow, the 10-th of February, 1948. *Pimenova I. V.* The «new» Polish intellectuals: specific problems of formation. *Havranek J.* (CSFR). Czech, Polish and Slovak intellectuals in Austro-Hungary (comparative analysis). *Titova L.* Czech-Hungarian cultural relations at the stage of formation and evolution of national culture. *Dziffer G.* (Italy). Manuscript tradition in the complete description of Konstantin's life. *Gerd A. S.* Toward reconstruction of the standard model of the Church-Slavic language. *Efimova V. S.* Old-Slavic adverbs in -ѣ derived from the adjectives 3

COMMUNICATIONS

Uljanovskij V. I. The case of pan maršalek Jozef Vandalin from Velikie Končice Mnishek, and the secret documents of Lzedmitrij I 81

REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

Dmitriev M. V. Плохий С. Н. Папство и Украина. Политика римской курии на украинских землях в XVI—XVII вв. *Kuzakov V. K.* Цветана Чолова. Естествонаучните знания в средновековна България. *Choreva O. A.* Reference book of reference books. *Murtuzaliev S. I.* Елена Грозданова. Българската народност през XVII век. Демографско изследване. *Zuravlev V. G.* Shevelov. The Ukrainian language in the first half of the twentieth century (1900—1941). Its state and status 88

SCIENTIFIC LIFE

Nenasheva Z. S. The XII-th All-Union conference of historians-slavists. *I. K.* Conference of International committee of historical-slavistic studies. *Medushevskij A. N.* Conference of Soviet and Polish historians in Olštyn. *Zakova N. K.* International seminar on Slavic Bible. *Pashchenko E. M.* Conferences devoted to the baroque epoch. *Kuz'min M. N.* Competition 101

Технический редактор *Е. В. Синицына*

Сдано в набор 11.02.91	Подписано к печати 04.04.91	Формат бумаги 70×108 ^{1/16}
Высокая печать	Усл. печ. л. 9,8	Усл. кр.-отт. 10,6
Тираж 1048 экз.	Уч.-изд. л. 11,7	Бум. л. 3,5
	Зак. 1077	Цена 1 р. 50 к.

Адрес редакции: 117354, Москва, Ленинский просп., д. 32а

Телефоны 938-01-29, 938-08-09

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

1 р. 50 к.

Индекс 70891